

Палоло, или Как я путешествовал

Автор:

Дмитрий Быков

Палоло, или Как я путешествовал

Дмитрий Львович Быков

Дмитрий Быков – блестящий публицист, прозаик и культуртрегер, со своим – особенным – взглядом на мир. А ещё он – заядлый путешественник. Яркие, анекдотичные истории о самых разных поездках и восхождениях – от экзотического Перу до не столь далёкой Благодати – собраны в его новой книге «Палоло, или Как я путешествовал».

Дмитрий Быков

Палоло, или Как я путешествовал

© Быков Д.Л

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

От автора

Эта книжка теперь называется «Палоло», вся она была задумана ради центрального очерка и главного путешествия. За день до последней четверти

октябрьской луны – правда, магически звучит? – близ островов Фиджи и Самоа вода опалесцирует и буквально кишит странными белёсыми лентами, похожими на феттуччини. Это всплывает на поверхность икра щетинковых червей, называемых палоло. Наука не знает, почему эти задние сегменты их тел отрываются и всплывают ровно в последней четверти луны, только в октябре и только в две ночи. Но туземцы в эти два дня наедаются надолго. Можно сказать, только в эти два дня они и едят досыта. Икра морских червей заготавливается впрок, жарится, намазывается на бутерброды, но главное – пожирается прямо в воде: заходят туземцы по пояс в воду, руками и сачками вылавливают палоло и хавают в упоении. По вкусу, говорят, это похоже на малосольную икру, но имеет ещё и своеобразный наркотический эффект: если съесть много, да ещё и под убывающей октябрьской луной, в тёплом ночном океане, – начинаешь испытывать эйфорию, раскачиваться и петь. Впрочем, не исключено, что это на них сытость так действует.

Не то чтобы я был фанатом сифуда и экзотических путешествий, не то чтобы я гнался за наркотическим опьянением, но в этой идее – отправиться на Самоа в последней четверти октябрьской луны, – что-то слышится родное. Это очень дорогая и совершенно бессмысленная поездка – не командировка в горячую точку, не отдых на курорте, не безумное путешествие к возлюбленной на другой край земли, но что-то есть в том, чтобы в лунную ночь войти по пояс в океан и в компании туземцев нажраться морского червя. Сами собою домысливаются скалы, пальмы, чуть ли не призраки погибших кораблей, чуть ли не пираты карибского моря, – вся дешёвая, но неотразимая атрибутика диких, всё ещё не погубленных цивилизацией далёких островов. Мне не досталось пожить в самое любимое время – моэмовское, киплингское, – а если бы досталось, оно бы наверняка не было любимым. Но поездка за палоло – это как раз такой моэмовский сюжет, и там наверняка были бы смешные приключения, и что-то в этом есть от поэтической охоты за вдохновением – год ждёшь, чтобы один день всласть попользоваться. Короче, я обожаю описывать такие вещи, и мечтал об этой поездке так же страстно, как в своё время о поездке в далёкий перуанский поселок Nahui, что и осуществилось с благословения редакции.

Но сначала на последнюю четверть октябрьской луны пришлась другая важная поездка, которую никак нельзя было перенести, потом эта последняя четверть совпала с преподаванием в Штатах, потом на это же время назначили выступления в Сибири, которые и так долго откладывались, – а когда уже в этом году мы стали прикидывать суммы, которые уйдут на билеты и гостиницу, оказалось, что палоло стали слишком дорогой прихотью. Ни одного издания, которое готово было бы вложиться, на горизонте не просматривалось, грабить

родной «Собеседник» было стыдно, а главное, результат был не гарантирован. Вкус палоло, объяснил мне один сведущий приятель, который слышал об этом от реального самоанца, – один в один тресковая икра, слегка разбавленная огуречным рассолом. То есть доставить себе это удовольствие я могу в ближайшем продовольственном магазине, где банка тресковой икры стоит двести, а ведёрко солёных огурцов – сто. Если съесть этой смеси очень много, эйфория вполне возможна, а если запить водкой – почти неизбежна. Конечно, луна, скалы и пальмы должны при этом домысливаться, – но если включить какое-нибудь океанское кино, можно устроить Самоа в отдельно взятой квартире без всяких затрат. Не то чтобы меня душила жаба, но как-то я вдруг представил, что главным и абсолютно неминуемым эффектом такой поездки будет разочарование. Потому что не в тех уже я годах и не в том настроении, чтобы совершать красивые безумства. Парадокс всякой жизни в том, что в молодости у тебя, как правило, нет денег на такие безумства, а в зрелости и надвигающейся старости на них не хватает безумия. Видимо, я упустил момент, когда деньги уже были, а авантюризм не вполне угас; хотя, правду сказать, таких капиталов, чтобы выбросить приблизительно лимон рублей на одну ночь океанического обжорства, у меня нет и не было. Но зато было бы что вспомнить. Как увидит читатель этой книжки, у меня в принципе есть что вспомнить.

Главное же, что меня остановило, – почти полная уверенность в том, что палоло оказался бы противным на вид и, скорее всего, на вкус. Есть несколько роликов в сети – действительно, ловят какие-то люди какую-то макаронину, смеху и плеску гораздо больше, чем толку, но главное, вид моря и макаронины в нём подозрительно неаппетитен. Подозреваю, обычная паста с морепродуктами привлекательнее по виду, вкусу и цене. Так что слухи о грядущем экономическом кризисе добились меня окончательно. Хотя издатель этой книги Елена Шубина сказала, что если сборник хорошо продается, то в следующем октябре я, может быть, наберу хотя бы на дорогу туда. А обратно мне, может быть, уже и не захочется. Вдохновляемый этой перспективой, я собрал все свои очерки о путешествиях – внутрироссийских и заграничных – и решил выпустить без рассказа о черве. Могу пообещать читателю, что если он купит эту книгу и тем обеспечит моё путешествие, в следующую октябрьскую луну я совершенно точно отправлюсь на Самоа и, как некий Сенкевич, за вас за всех попробую наркотической икры, и порадую вас в следующем издании подробным отчётом. Будем считать, что это у нас такой краудфандинг.

Если же всерьёз предварять этот сборник травелогов, – ездил и езжу я очень много, главным образом по журналистским делам, потому что бросать

профессию не собираюсь, да и не получится. Мне кажется, у писателя должна быть работа, помимо литературной, просто чтобы без стыда глядеть в глаза современникам. Помимо прочих бонусов, журналистика помогает русскому человеку осуществить главную и заветнейшую его мечту. Мечта эта заключается в том, чтобы выехать за границу. Осуществляется она в двух вариантах – либо с чемоданом, в виде туриста или приглашенного специалиста, либо на танке. Вот почему русский человек хватается за любую возможность сесть в поезд, самолет или на танк, хотя последнее чаще всего осуществляется помимо его воли. Бегство за границу, чтобы устроить там наконец правильную Россию, – здесь-то она всё равно никогда не получится, – это и есть наша утопия, национальная идея и главная личная цель. Бесконечное расширение империи, пока она не упёрлась со всех сторон в океаны, обусловлено теми же соображениями. И мои многочисленные поездки, начавшиеся лет с шестнадцати, – сначала журналистские, потом гастрольные, теперь ещё и педагогические, – диктовались, наверное, ими же. Не то чтобы я не любил собственный дом, но оседлая жизнь переносима тогда, когда участвуешь в каком-то глобальном проекте. А пока ожидаешь перемен – на какое-то ожидание уходит тут почти всякая жизнь, – лучше ездить. Как-то помогает скоротать время до глобального проекта.

Бо?льшая часть этих текстов печаталась в «Собеседнике» – слава богу, бессмертном, – и «иностранце», давно не существующем. Я ничего не стал в них исправлять, потому что это было бы нечестно. Историю, хотя бы и собственную, не перепишешь. Спутником моим в большинстве этих поездок был замечательный фотограф Максим Бурлак, которого я от всей души и благодарю.

Письма русского путешественника

Как я не встретился с Бродским

Слава богу, что не встретился. Теперь у меня нет соблазна опубликовать в газете «Сегодня» мемуар следующего содержания: «Иосиф долго бродил со мной по Венеции (Нью-Йорку), купил мне – на свои деньги! – две чашечки кофе, а на прощание сказал: “В России, Дима, три поэта: Рейн, Кушнер и вы”».

И, потирая руки, засмеялся, довольный».

В России не было поэта, который не мечтал бы встретиться с Бродским, вне зависимости от своей любви или нелюбви к нему. За право ввернуть: «А тут-то Бродский мне и говорит...» многие продали бы если не душу, то почку. Нобелиат счастливо сочетал умение писать замечательные стихи и попутно устраивать промоушн, так что его похвала одинаково много значила и для карьеры, и с точки зрения гамбургского счёта.

(Одна девочка, посетившая Нью-Йорк, услышала, что Бродский часто бывает в ресторане «Самовар» и даже является его пайщиком. Она дневала и ночевала в этом ресторане, но Бродского там не заметила. Вернувшись, пожаловалась мне. «А помнишь, там в углу такой стоял? – спросил я. – Такой рыжий, лысеющий, с полотенцем через руку?» – «Ну». – «Так это он и был». Она чуть не расплакалась.)

Ему, по-моему, как-то не везло на визитёров из России. Берёт, например, интервью Дмитрий Ратышевский из «Московских новостей». Бродский его спрашивает: вы Шестова читали? Не читал, отвечает Радышевский. А зря. Обязательно прочтите «На весах беспочвенности». Цитирую по Радышевскому.

Не мог Бродский такого сказать. Даже в порядке издевательства не мог, потому что контаминировать названия двух шестовских книг «Апофеоз беспочвенности» и «На весах Иова» – не смешно. И вообще – встретишь иной раз в московской квартире фотографию, где хозяин стоит близ Бродского, иногда несколько потечески над ним возвышаясь (Бродский был среднего роста), – ну мэтру-то всё равно, он и сам иногда ощущал себя, кажется, статуей, а статуя не отвечает за фотографирующегося с нею туриста, у неё и выражение лица специальное припасено, такое несколько устало милосердное. Но этот-то хрен что тут делает! Меня, меня в кадр, я, может быть, нашёл бы слова, чтобы сказать этому лысеющему человеку, сколь много он для меня значит – именно тем, что я всю жизнь стараюсь на него не походить!

Я очень мечтал повидать Бродского. Было ужасно интересно поглядеть, какой он в нормальном общении, потому что – не считать же, в самом деле, нормальным общением всякие бросания ягод друг другу в рот во время его венецианских телепрогулок с Рейном! Меня вообще очень раздражает Рейн, который сегодня, кажется, даже на вопрос: «Который час?» отвечает: «Как сказал мне однажды Иосиф, без четверти пять».

Вообще наслышан я был достаточно. Рассказывали, что на одном парижском вечере Бродского к нему разлетелся кто-то из восторженных, совсем ещё свеженьких эмигрантов: надо же, только что эмигрировал, и тут Бродский. Эмигрант подошёл и сказал: «Иосиф Александрович, у меня нет денег на вашу книжку (продававшуюся тут же), вы мне не распишетесь вот тут в блокнотике?» Бродский, говорят, рассвирепел и очень резко ответил: «Раз у вас нет денег, то и нечего ходить на мои вечера...» Честно говоря, я не очень в это верю, может, его просто достал определённый тип поклонников – брадатые юноши бледные со взорами горящими и стебельковыми шеями.

Другие, наоборот, рассказывали, какой он бывал нежный и гостеприимный. Однажды Бродского живьём видел чудесный прозаик Александр Мелихов, которого я за эту устную новеллу ещё больше уважал: стоит Мелихов на какой-то скандинавской книжной ярмарке, и тут идёт Бродский. Все тут же к нему побежали со своими сочинениями, стали писать автографы, и у Бродского в руках образовалась изрядная кипа литературы, которую он не знал, куда девать. Он улыбался хорошо отработанной для таких случаев деликатной улыбкой и всё пристраивал куда-то эту кипу (мысленно давно определённую им в корзину), в душе, вероятно, горячо посылая всех окружающих, так что Мелихов это почувствовал и не тронулся с места. Бродский заметил единственного русского автора, не подбежавшего под благословение, и посмотрел на него долгим заинтересованным взглядом. Вообще же вспоминающие о своих встречах с Бродским сильно напоминают мне детей, примазывавшихся к славе без вести пропавшего Тома Сойера, – тот эпизод, когда один мальчик, решительно не помня ничего оригинального, только и смог выдать: «А меня Том Сойер однажды здорово поколотил», – но это могли о себе сказать почти все присутствующие...

Тем не менее слаб человек, и когда я в 1994 году оказался в Америке, у меня была подспудная, постыдная и несбыточная мечта хоть издали поглядеть на человека, написавшего «Я не знал, что существую, пока ты была со мною». У меня было поручение к замечательному нью-йоркскому литератору и журналисту Петру Вайлю, который в сноске к какой-то своей статье однажды меня упомянул, и это выглядело достаточным основанием просить его устроить меня на кратковременный погляд к мэтру.

Вайль при моем первом звонке не выказал никакого восторга, и вообще я его, кажется, разбудил, так что я, в свою очередь, очень сухо рассказал про поручение и условился о встрече через неделю. Конечно, мы, идиоты, все

сплошь уверены, что соотечественники там жаждут увидеть в нашем лице живой привет с Родины; должно пройти много времени, прежде чем мы поймём, что в США любое напоминание о Родине способно надолго испортить настроение цивилизованному человеку. Как бы то ни было, через неделю Вайль со мной встретился в маленькой кофейне неподалёку от нашей гостиницы, и я стал деликатно к нему подъезжать насчёт Бродского.

- А что Бродский, - небрежно сказал я, - он не собирается книгу выпускать?

- Собирается, очень много нового написал, - сказал Вайль. - И стихи замечательные, совсем не похожие на то, что было. Вот недавно он мне читал...

При этих словах Вайль вырос в моих глазах как минимум на полголовы.

- А он вообще... принимает хоть кого-нибудь?

- Он очень открытый человек, с ним вполне можно встретиться.

- А если, допустим, книжку стихов ему передать?

- Можно и книжку. Он обычно просматривает почти всё, что ему присылают.

- А правду говорят, что он очень «опускает» собеседника... в смысле резок, непредсказуем и всё такое?

- Да нет, я думаю, всё будет нормально. Вот он скоро, может быть, ко мне в гости придёт, я вас приглашу, и вы познакомитесь.

Эта перспектива ослепила меня на три дня. Панически боясь навязываться Вайлю, я честно осуществлял программу CIA - со всеми её прелестями вроде посещения штабов партий, выездов на дом к отставным политикам и других чрезвычайно усладительных мероприятий, но мозг мой уже работал в заданном направлении. К тому же экскурсовод, катавший нас по Нью-Йорку, с уважением показал бывший дом Бродского в Сохо - «правда, теперь он отсюда переехал, но долго жил здесь, это самый старомодный и интеллектуальный квартал», - и в голове моей против воли зазвучало «Он здесь бывал: ещё не в галифе...»

Представлял я себе примерно три варианта. Первый, оптимальный. Вайль меня приглашает, тут входит Бродский, все сдержанно ахают, и посиделки одним махом переводятся в иной регистр... Идёт общий разговор, потом Бродский читает что-то новое, а потом добрый Вайль говорит: «Ну а теперь пусть Быков почитает что-нибудь одно». А мне больше одного и не надо, у меня счастья полные штаны, я «что-нибудь» читаю, Бродский дружелюбно улыбается, говорит – «недурно, недурно», добавляя, в своей манере, несколько теоретических соображений о поэте как орудии языка, не забывая своих излюбленных оборотов вроде «в чрезвычайно значительной степени». Я на крыльях несусь в свой «Шератон Манхэттен», сжимая потными руками надписанную мне «Уранию» – что-нибудь вроде «на память от автора». Место в русской литературе обеспечено.

Вариант второй, чудовищный. Бродский не в ду-хе. Я читаю, он разносит, а я, что самое ужасное, в своей обычной манере реагировать на критику, киваю, улыбаюсь и покорно соглашаюсь. Умри, Денис, лучше не пиши.

Вариант третий, самый отвратительный: общий разговор, я сижу чужим на празднике жизни, потом мне из деликатности предлагается почитать, я читаю, стараясь не смотреть на присутствующих, возникает короткая пауза, после чего разговор возобновляется, а меня как бы и нет. Я иду в «Шератон Манхэттен», а после девяти ноль-ноль пи эм в Нью-Йорке купить выпивку большая проблема... Почему-то именно этот факт заранее приводил меня в полное отчаяние.

Самое грустное в третьем варианте, думал я, то, что после этого я уже никогда не смогу заставить себя хорошо относиться к стихам Бродского, потому что, повторяю, слаб человек – и, храня объективное молчание, в душе всегда буду присоединяться к хору утверждающих, что рыжий исписался и что вообще его как поэта больше нет, а может, и не было, что он скучный, холодный, вместо метафор у него дефиниции, а вместо эмоций – констатации. (В своё оправдание могу только заметить, что Бродский высоко ценил Набокова ровно до того момента, когда сам Набоков где-то не слишком восторженно о нём отозвался, – и с тех пор Бродский везде, где мог, побивал Набокова Платоновым, который уж точно ничего плохого не мог сказать о его стихах; а Саша Соколов, которого Набоков как раз похвалил, вызывал у Иосифа Александровича стойкую антипатию.)

В таких постыдных размышлениях я проводил свои нью-йоркские дни, не решаясь напомнить о себе добрейшему Вайлю, представляя разные варианты встречи, перебирая стихи, которые я бы прочитал Бродскому. Он мне даже приснился: мы шли вдоль какого-то залива, дул ужасный резкий ветер, и в том же ужасно резком тоне Бродский разносил всё, что я когда-либо написал, – и я понимал, что мне нечего делать в литературе, и просыпался только что не в слезах.

Наконец Вайль позвонил мне сам и сказал, что хочет передать со мною в Москву скромный подарок одному из общих знакомых, а заодно и купить мне на память книжку, которую я выберу сам. Книжка такая у меня на примете была, и мы опять сошлись неподалёку от «Шератона», за три дня до моего отъезда, в кофейне напротив книжного магазина.

– А что ж вы не позвонили? – добродушно спросил Вайль. – Иосиф был у меня позавчера.

Я содрогнулся.

– И как? – спросил я по возможности небрежно. Вайль вытащил из портмоне фотографию, на которой был он, Бродский и неизвестная мне личность, явно не Генис. Бродский весело подмигивал в объектив, словно подначивая автора этих строк.

– Можете взять, – сказал щедрый Вайль.

– А что было?

– Ну, он почитал, поговорили, а на следующий день он уехал в Европу. В Швецию.

– И когда теперь вернётся? – спросил я совершенно упавшим голосом.

– Месяца через два...

Месяца через два мне уже предстояло тянуть ляжку в родном московском издании, где меня и так уже ненавидели за двухмесячное халявное пребывание

в свободной стране; и вид мой был так печален, что Вайль попытался меня утешить:

– Вы можете оставить ему свою книжку. Я передам.

Только тут я вспомнил, что книжка у меня оставалась одна, заранее надписанная одному эмигранту, который проживал на Брайтоне, а когда-то носил ко мне в «Собеседник» совершенно гнусные фельетоны, и, хотя я их стабильно ему заворачивал, в Штатах этот человек был ко мне патологически добр и много покатал по городу за свой счёт. Совесть терзала меня, но я вытащил из сумки книгу, аккуратно выдрал из неё титульный лист («Дорогому Григорию на память о чудесном вечере в “Одессе”») и надолго задумался.

– Что ж написать-то?

Вайль мудро усмехался. Ему ясно было моё состояние. Только тут я понял, кому, в сущности, буду надписывать свой сборник и как этого потенциального адресата люблю, до какой степени я им напичкан и пропитан, как часто примерял на себя его цитаты и как жалко буду выглядеть, сконцентрированный на двухстах страницах, в его руках. «Дорогому Иосифу Александровичу» – какой он тебе дорогой... «Уважаемому Иосифу Александровичу» – ага, в день выхода на пенсию от благодарных сослуживцев. «Милому Иосифу Александровичу» – да, конечно, с крепким поцелуем, люби меня, как я тебя, мы обе – институтки. Отбросим определение. «Иосифу Александровичу Бродскому с...» «Преклонением» – какие сласти! «Восхищением» – да, и слезами. Если ему чего и не хватает в жизни, так исключительно моего восхищения. С надеждой на встречу. Со свиданьем. Он теперь ночей спать не будет, всё станет ждать встречи... тьфу, какой я ничтожный!

Наконец рука моя неожиданно для меня самого решительно вывела: «Иосифу Александровичу Бродскому с благодарностью» – что, в общем, вполне соответствовало истине, и Вайль широкой ручищей сунул мою сжавшуюся книжку в карман защитного плаща.

– Вы уж ему передайте, – сказал я.

– Я уж ему передам.

После чего мы допили кофе, я выбрал себе давно присмотренного Хеллера, и Вайль растворился в дебрях Большого Яблока.

...Бродский снился мне с тех пор только единожды, вскоре после его смерти, – в странном интерьере, восходящем, вероятно, к рассказам фотографа Валерия Плотникова о ленинградском жилище поэта: комната-колодец, заставленная книгами по всем четырём стенам, снизу доверху. Тут же и стремянка, чтобы эти книги доставать. На этот раз Бродский был необычайно дружелюбен, поил чаем и говорил о чём-то весёлом и приятном, и с ним было необыкновенно радостно, и можно было запросто сказать: «Иосиф Александрович, а как это у вас здорово, помните – “Покуда время идёт, а Семёнов едет”, ха-ха-ха», – и объяснение этому сну подыскать несложно. Один автор написал уже, что после смерти Бродского, каким бы холодным и герметичным его ни называли, каким бы отдалённым он ни выглядел, – всеми владело чувство личной утраты, потому что он сделал фактом большой литературы именно обыденное интеллигентское сознание, моё-твое-наше. И кроме того – его работа касалась каждого пишущего, потому что всем было интересно, что он там делает, на своём передовом рубеже; и, наконец, огромная часть жизни прошла на фоне его текстов, так что естественно, что, грозный и недоступный при жизни, после смерти он выглядит почти родным.

Ужасно, если вдуматься. Жёлтые репортёры нанесли в доверчиво распахнутые московские издания горы чуши о том, как Бродский любил холодец и сациви, а также водку, настоянную на травах. Это, конечно, расширяет наши представления о нём «в чрезвычайно сильной степени»...

А ощущение настоящей личной встречи с Бродским посетило меня всего один раз – в самолёте, когда я улетаю из Америки с твёрдым пониманием того, что окажусь здесь снова не так уж скоро. Рёв двигателей, как всегда, звучал мужским хором, и в такт какому-то скрытому ритму хорошо было скандировать про себя:

Родила тебя в пустыне

Я не зря,

Потому что нет в помине

В ней царя.

Это был очень поздний Бродский, не похожий на зрелого и на раннего, внезапно потеплевший, вернувшийся на миг к традиционной метрике:

Привыкай, сынок, к пустыне,

Как к судьбе.

Где б ты ни был, жить отныне

В ней тебе.

В эту секунду я был страшно счастлив, что не увидел Бродского – потому что эти стихи могли теперь существовать во мне чистыми и незамутнёнными, в высшем смысле анонимными, свободными от любого авторства, потому что человек такого сделать не может. И, разумеется, как было не гореть звезде за окном самолёта, где было, сказали, пятьдесят градусов мороза:

Словно жжёт свечу о сыне

В поздний час

Тот, Который сам в пустыне

Дольше нас.

11. vi.1996

іностранец

Несколько способов отъёма денег

Нищий – это чеховский человек с молоточком (ненавижу эту цитату!), который стоит рядом со счастливецом и тук-тук ему по башке: не всё, мол, хорошо! Не садись на пенёк, не ешь пирожок, вот страдающий брат твой!

Но в России нищим подают, откупаясь таким образом от судьбы. Дают ей задабривающую взятку. А вот в чёрной или жёлтой стране богатый белый

человек не допускает мысли о том, что со временем может занять место рядом вот с этим беззубым, босоногим старцем, едва прикрывающим костлявые чресла свои. Кроме того, когда нищих очень много (а в Индии, на Цейлоне и кое-где в Африке их очень много), их сперва перестают замечать, а после начинают ненавидеть. Попрошкам приходится постоянно заявлять о себе и требовать внимания.

Российский нищий тих. Нищета развивающихся стран агрессивна и напориста, что в сочетании с подбострастием создаёт комплекс, достойный пера Достоевского. С проблемой местного попрошайничества любой русский, приезжающий на экзотику, сталкивается в первую голову.

В день прибытия на Цейлон мы с Х., моим соседом по комнате, отправились прогуляться по Коломбо. Мы были наивны. Отель стоял на берегу океана – грязного, но бурного; купаться не рекомендовалось, но постоять и повдыхать вольный горько-солёный ветер было весьма в кайф. Хотелось приветствовать улыбками местное население – и это стремление в конечном итоге горько нас подвело.

К нам подошли двое дружелюбных уроженцев Шри-Ланки, и один из них на приличном английском принялся расписывать свою любовь к России. Он даже бывал однажды в Москве – почему-то больше всего его воображение поразила станция метро «Сокол». Впрочем, возможно, он имел в виду «Песню о соколе»? Второй колумбиец тоже любил Россию и русских. Туземцы пояснили, что преподают в школе и что это очень трудно. После чего второй тамилец попросил у нас автографы. Мы умилились настолько, что без тени сомнения поставили свои закорючки в длиннейшем списке – и тут наши новые друзья нам пояснили, что мы расписались в списке добровольных жертвователей на их школу. Только здесь наблюдательный Х. заметил, что против каждой росписи указана сумма никак не меньше пятидесяти долларов (остальные благотворители были кто из США, кто из Германии). Денег у нас с собой было не ахти сколько, заказов от семей и друзей – выше головы, и жертвовать в первый же день пятьдесят долларов абсолютно не улыбалось. Поскольку в начале разговора мы успели признаться, что отправляемся на ближайший базар в рассуждении купить кокосов-ананасов, сослаться на оставленные в номере деньги было уже нельзя. Мы соврали, что зайдём в ближайший отель поменять доллары (купюры крупные, всё такое), там нас, по счастью, обломили, ибо без паспорта на Шри-Ланке денег не меняют, а паспорта мы оставили в номере, – и туземцы нехотя отвяли, пройдя за нами, однако, ещё метров двести.

По мере приближения к туземному базару всякий белый человек, имея он даже недвусмысленный семитский нос вроде моего, обрастает толпой провожатых. Провожатые надеются, что за своё добровольное гидство получают от белого человека на цейлонский чай. Откупившись от торговцев и прорвавшись через толпу нищих, мы устремились было назад к океану, но стряхнуть гидов было уже невозможно.

– Сэр, вы русский, – уверенно обратился к Х. один из них. – Вы русский, и вы хотите фотографироваться.

– О но! – воскликнул Х., толком знающий только немецкий. – Переведи ему, что у нас денег нет.

– Вы хотите фотографии с женщинами? – вкрадчиво спросил другой, забегаая вперёд.

Мы энергично пояснили, что терпеть не можем женщин, да ещё и сфотографированных.

– Вы хотите женщин, – твёрдо решил третий и схватил Х. за руку. Ещё человек пять шли сзади – судя по всему, с более рискованными предложениями. Х. вырвал руку и со страдальческим выражением лица – в нём разыгрался комплекс вины белого человека – устремился вон с базара к местному вокзалу. Неожиданно от кучки сопровождающих отделился один, наиболее храбрый, и заговорщически произнёс:

– Бамбина.

– О, но бамбина! – понял Х. Я по мере сил перевёл, что мы по горло сыты впечатлениями и вообще ноу мани.

– Ноу мани – ноу фанни, – весело сказал туземец. – Бамбина. Нот фото. Риал бамбина, гёрл. Смолл.

– Скажи ему, что мы гомосексуалисты! – провыл Х.

– Тогда они предложат мальчика.

У меня было основание так думать, ибо очередной гид с совсем уже интригующим видом выдвигался в нашу сторону.

- Господи, ну соври что-нибудь! Скажи, что мы импотенты!

- Типун тебе на язык.

- Что у нас СПИД!

- Второй типун.

- Ну скажи, чтобы они привели в отель, что мы сейчас заняты!

Примерно это я и объяснил, но владелец бамбины не отставал:

- Рашен бамбина, - выкинул он последний козырь.

Этого демарша мы не ожидали. Русская девочка, похищенная туземцами, избиваемая, понуждаемая к соитиям! Мы должны, должны были её спасти, вырвать из лап сутенёров!

- Шоу ас рашен бамбина, - решительно сказал я. Туземец нырнул в толпу и под одобрительный гогот собравшихся выволок оттуда девушку лет шестнадцати, абсолютно местного разлива. Она была вопиюще нехороша собою, кокетливо хихикнула и сказала:

- Драстуте. Пасиба.

По всей видимости, после этого заклинания мы считались её собственниками, так что туземец потянулся к нам за деньгами, а бамбина всем видом изъявила готовность идти с нами. Х. трусцой дёрнул в сторону побережья, я ринулся за ним, а бамбина скакала следом, как горная коза. За ней прыжками мчался туземец, на бегу сбивая цену. Когда мы таким порядком дотрусости до берега, он, кажется, нам уже приплачивал. Мы перешли на галоп и под негодующие крики местного населения оторвались.

– Чтоб я ещё раз! пошёл! в этот город! – задыхался Х. Я кивал, не в силах выговорить ни слова: жара под тридцать, такие нагрузки не по моей комплекции. Переводя дыхание, мы стояли у океана, обдуваемые ветром. К нам возвращались покой и вера в человечество. В эту секунду нашего слуха достиг жизнерадостный крик:

– О, Москва! Хатло! Ю чейндж ер мани?

Это были наши преподаватели, сборщики пожертвований. Они нас караулили. Они знали, что мы вернёмся с базара и там уж точно разменяем часть своих денег. И теперь с нас причиталось по пятьдесят долларов.

– Отель далеко? – быстро спросил Х.

– Минуты три.

– Рысью!!!

«Транзит», как называют это психологи, то есть сбор не на себя, а на того страдающего парня, очень распространён среди нищих всех времён и народов. «Не корысти ради, а токмо волею пославших мя учащихся». Интересно, однако, что в России «транзит» имеет по преимуществу личный или религиозный характер: просят на родственника, в крайнем случае на храм. В чёрно-жёлтых государствах распространён «транзит» социальный: на больницу, на школу, на постройку нового кинотеатра в посёлке... Со своей стороны, я настоятельно советую таким нищим не подавать. Гораздо милее выглядят люди, отирающиеся у отелей по вечерам в поисках выпивки или сигарет. Всегда как-то приятнее поощрить искренний порок, чем лицемерную добродетель.

Уже упомянутое добровольное гидство – очень распространённый вид попрошайничества. Когда мы всё с тем же Х. взбирались на довольно высокую мемориальную гору в Сингари, где местный князь-параноик семьсот лет назад отстроил себе дворец, рядом с нами семенило по темнокожему провожатому. Провожатые улыбались одобрительно и ободрительно: они понимали, каково людям нашего сложения при тридцатиградусной жаре шпарить по узкой лестнице. У меня, слава богу, не было никакого груза, Х. тащил портативную видеокамеру, и услужливый тамил почувствовал, что он скоро спечётся. Он подхватил вещи с такой нежностью, что Х. не смог ему отказать. Он тут же стал

прикидывать, во сколько ему это обойдётся. Все расчёты, однако, опрокинулись – тамил не ограничился ношением камеры и ближе к вершине стал дружески подпихивать Х. под зад, облегчая тем самым подъём. Лестница к тому моменту сузилась окончательно, кругом висели мохнатые рои диких пчёл, на любой громкий звук кидающихся в атаку, так что ни послать, ни отстранить помощника Х. не мог. Так, подпихиваемый, он и взобрался на скалу. За эту трогательную помощь с него содрали стоимость одного сандалового слона (на Шри-Ланке мы всё измеряли в слонах).

Но самый настырный гид попался нам в одной из бывших столиц (на Шри-Ланке, кажется, столицей побывал каждый город, чтобы никому не было обидно): прогуливаясь вдоль вечернего озера в компании своих прелестных подруг из группы, мы наткнулись на двух местных жителей, сидевших на лавочке и мечтательно глядящих вдаль. Ребята были совсем молодые и на вид хорошие.

– Медитируют, – решил Х.

– Мечтают получить образование, – предположил я.

– Думают о любви, – сказали наши девушки.

Все мы ошибались. Эти двое мечтали о пиве. У них была вечерняя охота.

Увидев нас, они прилипли намертво и не успокоились, пока не показали нам весь центр города. «Бесплатно, бесплатно, – лопотали они. – Мы знаем, вы из России, мы просто так покажем». Они постоянно затаскивали нас в какие-то лавчонки, с владельцами которых, видимо, договаривались заранее на вполне конкретных условиях, потому что лавчонки были уж очень гадкие, а владельцы уж очень неряшливые. Сбежать от туземцев можно было единственным путём, и моего Х. осенило. Он увидел рикшу. Рикшами мы называли местных таксистов, разъезжающих на крытых мотороллерах. Это трёхколёсная машина, на которой сверху громоздится небольшая квадратная кабинка, держащаяся на соплях. Любая колдобина заставляет всю конструкцию скрипеть и содрогаться. Машина едет быстро и тархтит страшно.

– Хватайте рикшу, девочки. Говорите, что мы едем в горы.

Горы были действительно близко, и ночью там красиво высвечивалась статуя Будды. Мы еле впихнулись на заднее сиденье, взяли девушек на колени и крикнули было «Гони!», но гиды заступили нам дорогу:

– На пиво, сэр, – требовательно сказал один из них.

Рикша обернулся к нам и закивал:

– Они заработали пиво, сэр.

Х. вынул примерно полслона и сунул гиду. Тот презрительно осмотрел сумму и заметил:

– Мало, сэр.

Рикша (который был явно в сговоре) повторил эхом:

– Не хватит, сэр.

Я достал ещё полслона, но, судя по мимике туземца, его это не удовлетворяло. Не иначе как они собрались упиться в этот вечер за всю свою за горькую за жизнь.

Рикша не трогался с места. Нас спасло то, что на Шри-Ланке ещё плохо знают русских. Я извлёк десять тысяч рублей и гордо помахал перед гидами:[1 - Примерно 2\$ по курсу 1996 года. – Примеч. ред.]

– Рашен каренси. Беттер зен долларз.

Они взяли и убежали, видимо, опасаясь, что я передумаю. Рикша резво тронулся с места. Должно быть, в этом городе теперь не любят русских.

Последняя наша встреча с местным попрошайничеством состоялась буквально накануне отъезда – мы возвращались с севера Шри-Ланки в Коломбо и по дороге проезжали посёлок, в котором торговали ананасами (примерно как у нас вдоль подмосковных дорог – картошкой). Мы вылезли закупиться ананасцем, и тут ко мне бросилась прелестная туземка лет пятнадцати – единственная прелестная

туземка из всех мною виденных. Я ещё не знал, что столкнулся с третьим типом местного нищенства – принудительной торговлей. Я был о себе хорошего мнения. Я решил, что понравился ей, тем более что она, ласково скалясь, потянула меня в кусты.

– Ребята! – крикнул я, не в силах сопротивляться. – Скажи, чтоб ждали! – и скрылся с нею в чаще.

Я всю жизнь переоцениваю себя. В кустах у неё был рояль в виде самодельного лотка, заваленного орехами в целлофановых пакетиках. Она прыгала вокруг меня, визжала, показывала орехи (но ничего кроме) – а за кустом таился её брат или отец, а может, и муж, чёрт их разберёт, и приветливо склабился.

– Пошли вы оба, – мрачно сказал я по-русски. Видимо, я был тут не первым русским, потому что она вытащила один орех и нежно, но властно сунула мне в рот. Орех был как орех, но движение... и эти не слишком чистые, но почти детские пальцы... короче, я заплатил им четверть слона и был отпущен с мешочком орехов.

– Прикупил? – спросил меня кто-то из наших. – Дурак, они же их зубами чистят!

– Как – зубами?

– Обыкновенно. Луцат и выплёвывают.

Вывернуть меня не вывернуло, но аппетит отбило надолго. Я утешаюсь тем, что в Москве подарил этот мешочек своему начальнику – очень противному белому человеку с массой необоснованных претензий.

25. vi.1996

інострaнец

Как я пел «Марсельезу», или Швейцарская конина

Перелом в отношении Европы к России происходил на моих глазах. Это заслуживает разговора.

То есть, конечно, свидетелем самого перелома я не был. Я только застал его первые проявления, позволявшие говорить о тенденции. В конце 1991 года, аккурат между путчами, меня отправили во Фрибур – швейцарский город, который некоторые неправильно называют Фрайбургом, но расположен он во французской части страны, так что произносить следует «Фрибу-у-ур», с глотанием «г». Там происходил студенческий конгресс на тему «Единство Европы».

Группы тогда формировались по забавному принципу: студенческий совет, существовавший при Комитете молодёжных организаций, остро страдал от недостатка денег. В результате на всякого рода конгрессы, посвящённые будущему Европы или защите амазонских племён, посылался докладчик (он ехал бесплатно), куратор-переводчик (он выполнял организаторские и надзорные функции) плюс пять-шесть новых русских, которые за такие поездки платили меньше, чем за обычный тур, да туров толком ещё и не было. Так что в Швейцарию поехал я, известный студсовету своей способностью долго и бессодержательно говорить на общечеловеческие темы, два студсоветовских активиста и пара новых русских, с которыми у КМО было что-то вроде бартера: бизнесмен из Львова и жена какого-то партайгеноссе, ныне торговавшего автомобилями.

Денег мне с собой никаких не дали, а долларов у меня не было. В видах торговли сувенирами, которые ещё могли иметь некоторый успех, я взял с собой штук десять юбилейных рублей, несколько футболок с советской символикой, закупленных на Арбате, и мешочек чёрных сухарей для угощения любопытных. Вообще деньги были только у новых русских, остальным не поменяли ни франка и пообещали, что там будут хорошо кормить. Привередничать не приходилось – шутка ли, Швейцария! Мать заказала зонтик – взамен того, который я посеял незадолго до поездки. Я обещал, что буду крутиться.

Представления о единой Европе у меня были самые туманные, ограничивавшиеся в основном ленинской статьёй 1915-го, кажется, года «О Соединённых Штатах Европы» и набором либеральных клише. Остальные, по моему, не читали и ленинской статьи. Бизнесмен из Львова, тяжеловесный мужик лет сорока, после ста граммов начинавший говорить о бабах, собирался

завязать контакты с какой-нибудь швейцарской фирмой. Все мы были здорово разбалованы отношением к нам иностранцев, прибывавших в Россию на волне интереса к перестройке. Нам представлялось, что все объятия будут распротёрты и все флаги, в гости к которым были мы, начнут в нашу честь приветственно трепетать ещё в аэропорту. В аэропорту нас никто не встретил, и около часа мы проторчали в зале ожидания, напевая известную песню из кинофильма «Бродяга»: «Нигде никто не ждёт меня-а, бродяга я-а...»

Швейцарцы на нас косились, хотелось есть и пить, новые русские берегли свои деньги. Неожиданно переводчика, студента иняза, осенила блестящая мысль: он заметил, что швейцарский пятифранковик по размерам и весу идентичен металлическому русскому рублю. Он произвёл эксперимент (тоже привёз рубли, собака) и посредством разменного автомата немедленно конвертировал российский рубль один к двадцати. Ему выбросило пять монеток по одному франку. Думаю, столь удачного опыта конвертации в российской истории не было. Мы стремительно поменяли по два рубля и получили сумму, вполне достаточную для утоления жажды. Группа срочно обшарила свои карманы и обнаружила в общей сложности двадцать пять рублей, которые были объявлены неприкосновенным запасом.

После долгих звонков в посольство мы наконец достучались до отдела культуры или как там называется это подразделение, так что к вечеру нам подали «рафик» с недоумевающим шофёром и повезли во Фрибур по плавной холмистой дороге вдоль Женевского озера. Швейцарский пейзаж радовал абсолютной мирностью и подчёркнутым нейтралитетом. Мне вспомнился Штирлиц, отправляющий Кэт на родину и после трудов праведных зашедший поесть сметанки в вокзальный буфет. Сметана была только взбитая. «А наши там голодают», – подумал Штирлиц, уже не делая различия между своими в России и ихними в Германии. «Если бы не Сталинград, – подумал Штирлиц, – то тью-тью бы ваш нейтралитет вместе со взбитой сметаной». Эту его реплику я помнил наизусть.

Фрибур – очень маленький университетский город, университет которого известен замечательной библиотекой по истории католичества. Никаких других приоритетов там нет – только католичество, почему общежитие, где нас по первости поселили, было оформлено в традициях католического монастыря. Это и был монастырь в прежние времена. Теперь тут в одном крыле жили очкастые серьёзные студенты, а в другом – красивые серьёзные студентки, заигрывать с которыми было в принципе бесполезно. По-французски я знал единственную

фразу: «Vu le vu куше авек муа» (и, конечно, «Же не манж па...» – но в этом признаваться уже стыдно). Если кто не знает, «Vu le vu куше авек муа» означает «Не хотите ли вы спать со мной?» – и с таким багажом привлечь доброжелательное внимание европейской католички, сами понимаете, очень трудно. Селить в монастырское общежитие нас не хотели. Меня как самого убедительного отправили на поиски организаторов конгресса. Времени было уже около восьми вечера, и застать кого-то на рабочем месте не представлялось исполнимым – тем не менее нюх сразу привёл меня в кабинет ректора. Он что-то писал, отпустив секретаршу. Дубовый кабинет был увешан гобеленами с изображениями средневековой охоты.

Не думая, что попаду на самого ректора, я довольно решительно двинулся в помещение и по-английски сообщил, что мы русские, приехали на конгресс и хотим где-то переночевать, не говоря уже об поужинать. Лицо ректора выразило в первый момент ту же гамму чувств, какая, должно быть, была на лице Форрестола перед известным прыжком из окна с криком «Русские идут!!!». Оторвавшись от теологических трудов, он робко улыбнулся и принялся куда-то названивать; я пока рассматривал гобелены. Дозвонившись, видимо, до общежития, он что-то залопотал по-французски, после чего ободряюще кивнул мне и сказал, что сейчас всё будет.

Я вернулся к своим, уже успевшим проклясть всю объединённую Европу, и мы пошли в монастырскую общагу, где нас накормили остывшими и довольно-таки осклизлыми макаронами. Чувствовалось, что во фрибурском университете заботятся главным образом о душе. Спать нас развели по персональным кельям. В каждой висело распятие.

Наутро, непосредственно в день начала конгресса, нам было сообщено, что всех участников перевозят в одно место – некий загородный пансион, расположенный в пяти километрах от города. Туда уже съезжались гости – главным образом из Восточной Европы, ибо западноевропейские труппы могли себе позволить размещение в гостиницах. Запахло дискриминацией, но я никогда не питал особенных иллюзий насчёт интеграции русских в Европу. Впрочем, того, что нас ожидало, не мог предполагать и я.

– Мы ведь в отель едем? – спрашивала жена нового русского, старательно охорашиваясь всё время, пока нас везли.

Ответом ей была огромная скульптура у входа в то место, куда нас доставили. Скульптура состояла из довольно высокого и толстого каменного столба, по бокам которого лежали два шара, тоже изрядных в диаметре.

- Вот тебе, а не отель, - сказал я сквозь зубы.

Нас поселили в бомбоубежище, которое предусмотрительные швейцарцы, несмотря на весь нейтралитет, отрыли в начале шестидесятых. Всё было очень современно - сохраняемые в чистоте и боеготовности душевые кабинки, кафельные полы и, главное, нары с солдатскими одеялами. Нары делились на секции, в которых мы размещались по трое. Мальчиков положили отдельно. Заползти на спальное место можно было, только извиваясь червём. Потолок невыносимо давил. Всё вместе оставляло впечатление истинно европейского комфорта. Ко всему прочему вода в душе была чуть тёплая, о ванне речи вообще не заходило (какая ванна после ядерного апокалипсиса! там на земле радиоактивные руины, а вы тут будете в ванне расслабляться?!). Когда нового русского, новую русскую и активистов студсовета привели в спальное помещение, расположенное, кстати, на безопасной глубине метров в пятнадцать, они временно лишились дара речи.

- Я позвоню в консульство! - нашлась наконец новая русская. - Я буду требовать! настаивать! пусть меня немедленно вернут в Россию!

Ещё немного, и она потребовала бы, чтобы Россия объявила Швейцарии войну, и тогда уж точно тью-тью нейтралитет вместе со взбитой сметаной, но её подошла успокаивать прилично говорящая по-русски полька:

- Мы же Восточная Европа, - говорила она, соблюдая ударение на предпоследнем слоге. - Они нас как свиной видят. Мы ездили в Голландию на такой же конгресс, и там всех поляков и восточных немцев поселили в конюшне!

Так я впервые начал замечать, что интересовать Европу русские ещё могут, но уже исключительно как экспонаты. Если доперестроечный советский человек внушал уважение и страх как непредсказуемый, буйный питекантроп, если в конце восьмидесятых он внушал просто уважение как питекантроп с шансом превратиться в человека, то в начале девяностых он уже начинал восприниматься как питекантроп, окончательно превратившийся в свинью или даже в морскую свинку с рудиментарными когтями. Приглашать его на

конгрессы ещё было можно, чтобы при нём и с его участием обсудить, можно ли его интегрировать в Европу или следует изолировать в клетке; но рассматривать как партнёра, гостя или персону грата было при всём желании невозможно.

Кормление нам организовали в студенческой столовой, куда водили после заседаний. Кормили по низшему разряду, как беднейшее студенчество. На обеда выдавалось три вида талончиков: Восточная Европа получала, как сейчас помню, красненькие. По этим талончикам выдавался обед из трёх блюд, без сладкого (на сладкое, подсказывает мне измученная память, был ванильный пудинг, но его давали на синенький талончик). Три блюда были: суп-пюре из овощей а-ля профсоюзный пансионат «Горняк», конина и бутылочка невыносимо терпкого красного вина неизвестной мне марки.

Я неприхотлив относительно ночлега и в силу профессии ночевал много где, вплоть до разрушенного пионерского лагеря в Нагорном Карабахе; и часто менял постели в силу темперамента; и оттого меня не удручало бомбоубежище, которое мы с первого взгляда переименовали в бомжеубежище и с тех пор иначе не называли (правда, новый русский постоянно срывался на бомбоуёбище). Зато в смысле еды я прихотлив чрезвычайно и кониной никогда до тех пор не осквернялся. Чувствуя себя как минимум татаро-монгольским оккупантом, я стал брезгливо ковырять коричневый длинный кусок волокнистого мяса, обложенного картофельным пюре, которое я с детства люблю ещё меньше манной каши. Кониная оказалась действительно какой-то раскосой на вкус: кислая, жилистая, жёсткая, как иго, и съедобная ровно настолько, чтобы казаться деликатесом после ядерного апокалипсиса. Остальные могли ещё доплатить и взять вместо гнусного вина бутылочку лимонада, но лимонад стоил франк, а рубли я берег.

В первый же свой день мы принялись конвертировать рубли, потому что сидеть на заседаниях конгресса было решительно невозможно. Выходили студенты и говорили о проблемах, которые ни под каким соусом не могли быть интересны русскому человеку в начале девяностых. Речь шла о защите животных, о преодолении расовых и религиозных различий в условиях объединённой Германии, о плате за обучение для студентов из восточноевропейских стран – всё это излагалось монотонно, в огромном, высоком и строгом зале, к тому же холодном настолько, что на улице казалось теплей. Новый русский с первого дня стал носиться по Фрибуру в поисках хоть одной фирмы, с которой можно было бы завязать контакт, но напоролся в итоге только на благотворительную организацию, оказывавшую помощь старикам и инвалидам. Они надарили ему

кучу наклеек, и он уж было решил, что перед ним очень богатая организация (шутка ли – двадцать наклеек подарили за здорово живёшь), но фонд оказался крайне скудный. Он потащил меня и переводчика устраивать ему переговоры, быстро понял свою ошибку и поспешил смыться, даром что нас ещё обещали сводить в дом престарелых и там бы, может, накормили. Впрочем, не думаю, что престарелых кормили лучше, чем студентов третьего разряда.

Через некоторое время я здорово озаботился проблемой денег. Есть хотелось почти всё время, параллельно мучила изжога, да я же пообещал матери зонтик. Досуг свой, сбегая с заседаний, я проводил в бесцельных шляниях по осеннему Фрибуру. Забрёдал несколько раз высоко в горы, где всё было похоже на ожившую картинку к андерсеновской «Ледяной девице»; ходил мимо маленьких, крытых черепицей домиков с трогательными фонариками у входа... Я пребывал в умилении. Мне всё казалось, что сейчас из домика выйдет гномик, протянет ручку, поведёт посмотреть розы (мне отчего-то казалось, что внутри там непременно должны быть розы)... Вместо гномика из домика один раз вышел здоровый мужик в подтяжках и поинтересовался, какого чёрта я здесь делаю. Я понял не столько его лексику, сколько мимику (говорил он на швейцарском французском, как все в этой части страны, – его и наш француз-переводчик не всегда понимал). Так что идиллические прогулки в горах среди домиков, роз и маленьких озёр пришлось свернуть довольно скоро.

Единственным местом, откуда меня не гнали, был музыкальный магазин, в котором можно было надеть наушники и сколько влезет слушать столь мною любимый французский шансон. Шансон имелся в изобилии, поскольку Францию из Швейцарии в хорошую погоду видно невооружённым глазом. Первым делом я набирал кассет – главным образом Брассанса или Бреля, – потом шёл в кабинку и начинал слушать всё подряд. Брель был моей первой любовью в смысле французской песни, и когда он начинал – уже на последнем альбоме, уже с одним лёгким – умолять «Ne me quitte pas» – ну, тут у меня всё плыло перед глазами, и я вспоминал все романтические обстоятельства, в которых когда-то слушал эту песню. Нынешние мои обстоятельства были ещё более романтичны: в самом буквальном смысле без гроша в кармане, в абсолютно чужой стране, странный тип, ночующий в бомбоубежище и нафиг тут никому не нужный. Во мне зрел социальный протест. Когда он дозревал до нужного градуса, Брель как раз начинал «Вальс на три счёта», а когда это стремительное произведение доводило меня до подлинного катарсиса, начинал низвергаться знаменитый «Амстердамский порт». Песня эта не поддаётся адекватному стихотворному переводу в силу краткости французских слов и многосложности русских; короче, там про то, как переводил мне франкоязычный приятель, как в амстердамском

порту плачут матросы, потом пьют, потом блюют, потом опять плачут и опять-таки блюют, после чего снова пьют и блюют же. Эта нехитрая, в сущности, фабула излагалась у Бреля с таким напрягом и отчаянием, с такой мерой, сказал бы я, безнадёжного и трагического космополитизма – вот сидит чужой всем и вся человек в портовом кабаке, среди таких же, как он, скитальцев, пьёт, плачет, блюёт, курит марихуану, мир вокруг него заволакивается не пойми чем, он всех ненавидит, потому что все ему чужие, и одновременно всех любит, потому что все вокруг такие же бродяги без роду-племени и подонки общества... короче, ву ме компрене.

Через час или два подобных медитаций, весь в слезах, я выходил в серый ноябрьский швейцарский день и брёл куда глаза глядят по ажурным мостам (в городке было несколько знаменитых пропастей), по горбатым улицам, по брусчатке, мимо деревянных и каменных распятий, мимо костёла и мимо цветочных магазинов, которых почему-то попадалось мне бесчисленное множество. Тогда я впервые понял, до какой степени нечего делать человеку, у которого нет денег. Потом везде начинали зажигаться огоньки, матовое небо провисало, и всё становилось совсем уж грустно. В семь вечера сходились на обед, и автобус увозил нас в бомбоубежище, откуда часть поляков умудрилась-таки перебраться в студенческое общежитие, а мы так и махнули на всё рукой.

На четвёртый день я не выдержал и поменял в разменных автоматах половину своей рублёвой наличности. Долго проколебавшись между зонтиком и избранным Брелем, я всё-таки купил самый дешёвый зонтик и с бесконечной тоской побрёл на пленарное заседание, на котором восточные европейцы должны были вырабатывать своё отношение к объединению Европы. Европейцев собралось негусто, мы до заседания быстро сформулировали своё отношение к крушению тоталитаризма («было лучше, но хуже»), выпили русской водки, которую я привёз, и отправились на общее заседание докладывать свою позицию. Докладчиком выставили меня как наиболее толерантного к русской водке. Я влез на трибуну, поблагодарил собравшихся за приглашение и сообщил, что все мы европейцы, все под Богом ходим, а потому не надо нас рассматривать отдельно и так далее, ещё раз благодарю за внимание. Больше всего это напоминало поведение купчика Верещагина перед растерзанием его толпой в «Воине и мире»: «Граф! Граф, один Бог над нами!» При словах «Тоже и мы европейцы», сказанных мною на заплетающемся английском, зал захлопал, остальное же выслушал с недоуменной вежливостью. Мой социальный надрыв был здесь непонятен. Поляки, румыны и восточные немцы составляли мою надёжную клаку, но они по своему состоянию не заметили, когда я кончил говорить.

На следующий день – конгресс уже приближался к финишу – нам решили устроить экскурсию либо на шоколадную фабрику, либо на пивной завод «Кардинал», по выбору. На шоколадную фабрику мы отправили девчонок, а сами, естественно, пошли на пивной завод, преисполняясь самых радужных ожиданий. Тем не менее до дегустации нам показали длинный фильм про швейцарское пивоварение, затем провели по заводу, где пахло страшно аппетитно, и только затем привели в маленький зальчик, где очень добрая и сильно пьющая старушенция наливала всем, сколько душа просила. Сортов пива было пять, и я попробовал все. Немногочисленные французы хлебнули немного светлого и ушли по своим делам, единственный западный немец смотрел на нас в крайнем изумлении, а мы, то есть поляки, чехи и часть восточных немцев, решили отыгаться за всё. Трижды меняли на наших столах пластиковые кюветы с солёным печеньицем, не менее десяти раз старуха наполняла наши кружки (не забывая и о своей), и через три часа я вышел с пивного завода «Кардинал» совершенно счастливый. Мы шли в обнимку с поляками, которые предложили спеть «Марсельезу». Почему нам в голову пришла именно эта песня – объяснять, я думаю, не надо, к тому же франкоязычные швейцарцы ничего другого не поняли бы, а предлагать полякам «Интернационал» я остерёгся. Короче, они затянули «Марсельезу», и качество швейцарского пива было таково, что я спел её вместе со всеми от начала до конца, хотя ни до, ни после не знал оттуда ни одной строки, кроме «Аллонз, анфан де ля патри». Кстати, Ленин над этой песней часто издевался и остроумно пел «Аллонз, анфан де ля по четыре». Может быть, сплетня.

В последний день конгресса нам сообщили, что обратные билеты у нас только на тридцатое ноября, а все разъезжаются двадцать девятого: оставался пустой день, денег уже не было, и вся надежда была на прощальную студенческую ярмарку, на которой каждая группа представляла свои сувениры. Обещана была даже шуточная торговля. Я нацелился обменять остатки своих металлических рублей (дороже, чем по пять франков, у меня бы всё равно их никто не купил), но обнаружил все разменные автоматы в университете заклеенными. Видимо, швейцарцы выгребли оттуда наши русские рубли и всё поняли. Теперь ни один студент не мог поменять свой пятифранковик, зато уж и русским некуда было податься. Конвертация закончилась бесславно. Оставшиеся три рубля я безвозмездно подарил красивой девушке Наде Чифаретти, дочери миллионера из итальянской части Швейцарии. «Какая прелесть», – сказала она, но ничего взамен не дала.

Отступление. Вспоминаю, как в Японии, когда нас туда возили знакомиться с сектой Муна, была процедура братания. Брататься с мунистами мы отказались наотрез: shake hands, make friends – это ещё туда-сюда, но брататься-сестрататься с кем попало – увольте. Процедура братания была хороша только тем, что по итогам её все обменивались подарками. Нас предупредили, что вон тот длинный, в очках – сын японского миллионера. У сына миллионера в руках был довольно приличный пакетик из цветной бумаги. Я с другом кинулся к нему и с размаху вручил расписную ложку, запасённую как раз на такой случай.

Он поблагодарил, покивал и предложил братануться. Я отказался и выложил ещё значок, чтобы он, значит, сообразил: пора меняться.

Он кивал и благодарил. Друг выставил миниатюрную бутылочку водки, похищенную в самолёте. Сын японского миллионера расплылся шире ушей и взял бутылочку, но пакетика не выпускал.

– Щас, – сказал я по-английски и стремглав принёс из своего багажа маленькую серебристую царь-пушечку. Ну, думал я, уж царь пушечку-то он всяко возьмёт, уж она-то его прошибёт! Мысленно мы уже делили пакетик. Японец взял царь-пушечку, поклонился, вымолвил стандартное «аригато» и ушёл, унося свой документ о братании в надежде братануть кого-нибудь более сговорчивого.

– Пакетик! – заорали мы ему вслед, не сговариваясь. – Пакетик, сука!!!

В слове «сука» ему послышалось что-то японское, он оглянулся, ещё раз поклонился и исчез из поля зрения.

Вот и Надя Чифаретти тоже.

Вечером, на ярмарке студенческих товаров, я толкнул свои футболки в обмен на аналогичные футболки с польской и немецкой символикой, после чего понял, что остаюсь без гроша. Времени оставалось мало. Я достал мешочек чёрных сухарей, выложил из них серп и молот, рядом поставил оставшуюся бутылку водки и всё это назвал «Русский натюрморт». Какая-то швейцарская чувиха необъятных размеров, завитая мелким бесом, купила у меня этот русский натюрморт за пятнадцать франков, и я на следующий день приобрёл себе Бреля.

При закрытии конгресса ректор, которого я так неучтиво побеспокоил среди его гобеленов, выступил с речью.

– Я не буду долго рассуждать о единстве Европы, – сказал он, отечески улыбаясь. – Я расскажу только один эпизод. Недавно, когда я работал в своём кабинете, ко мне вошёл молодой человек и на плохом английском сказал, что он из России и что ему негде переночевать. И я понял, что Европа стала едина.

– Дрянь ты этакая! – прошипел я на весь ряд. – У кого плохой английский?! У меня плохой английский?! Меня в университете всем иностранцам показывали, дрянь шепелявая! Это у тебя плохой английский! – но теперь, по прошествии времени, я понимаю, что в главном старик был прав. Единство Европы на практике выглядит именно так, как он описал.

Надо ли говорить, что на прощальном банкете при попытке взять бесплатно бутылку лимонада я был тут же отруган, потому что бесплатный лимонад полагался только тем, кто заранее скинулся.

В последний день, когда все наши остатки были подъедены, деньги потрачены, а в столовой уже не кормили, переводчика осенила гениальная мысль. Он решил, что надо обратиться к прессе и дать интервью.

– Какого рожна? – кисло спросил я. – Кому мы нужны?

– Нифига, ты гость из свободной России! – твёрдо сказал переводчик и набрал номер главной фрибурской газеты. Через час в наше бомжеубежище приехал немолодой, но подтянутый швейцарец с фотоаппаратом и изъявил готовность поговорить с нами о происходящем в России.

– В России происходит таво, свобода, – сказал новый русский из Львова, но на большее его не хватило. На протяжении получаса мы с переводчиком заливались соловьями о том, как прекрасна стала наша жизнь с крахом тоталитаризма, а корреспондент тщетно пытался усечь, какое отношение всё это имеет к фрибурским новостям, которые он обязан был поставлять в номер. Наконец он понял, зачем его звали, и пригласил нас всех выпить по кружке пива в ближайший кабачок.

Профессиональная солидарность не позволила мне заказать много, поэтому я съел только жареного цыплёнка и пару порций ветчины; остальные были менее скромны, и несчастному под разговоры о русской свободе пришлось-таки изрядно раскошелиться. Мы успели рассказать ему всю свою жизнь.

– Ничего, – утешал меня переводчик, – он же гонорар получит!

На прощание корреспондент спросил, не нужно ли нам денег. Лицо он имел предоброе. Мы, конечно, отказались, – он нас хорошо накормил.

На обратном пути из Фрибура в Женеву мы уговорили шофёра сделать крюк, ибо до самолёта оставалось время. Мы попросили завезти нас в Монтре, где похоронен Набоков, и долго стояли у его серо-голубого камня. Последние два франка мы потратили на горшочек с цветами, который поставили у могилы (класть букеты в Швейцарии не принято). Никаких вечных красот, описанных у Вик. Ерофеева, я вокруг кладбища не наблюдал. Сеялся серый дождь, озера не было видно, гор – тоже. Погода была самая петербургская.

Я вспоминал, как Набоков давал уроки, и как у него не было денег выбраться из Ниццы, и как он обедал у друзей, и как он ненавидел немцев и французов, и как сначала эти немцы и французы смотрели на него как на дворянина в изгнании, а потом вся русская эмиграция стала им казаться нищенствующим отребьем, которое только засоряет их прекрасные города, – а короли в изгнании шли в таксисты и официанты... Европа двадцатых представилась мне: визг фокстрота, сигарный дым, голые женские плечи, ощущение стремительно надвигающейся гибели и общего безумия, горстка русских за столиком – нахохлившихся, уязвлённых, обсуждающих планы объединения Европы против большевистского ига...

В 1993 году в России случился второй путч, и она перестала быть интересна Европе; вернее, этот интерес перешёл в другое качество. Ни о каких объединениях больше не заговаривали, и студенческих конгрессов такого типа, по моим сведениям, не устраивали. В 1994 году я снова поехал в Европу – уже как безнадёжный и бесповоротный гражданин третьего мира.

інострaнец

Две швейцарские истории

Хорошо бы демократизировать образ Швейцарии, – посоветовал мне коллега, ныне работающий на Switzerland Tourism и возивший нас в Швейцарию специально для этой цели.

Если демократизировать, я всегда пожалуйста. Большинству населения, в которое до недавнего времени входил и я, Швейцария представляется как огромный, идеально неприступный банк, полный сыра. Но неделя в Альпах, среди романтических вершин, крошечных черепичных гостиниц и чрезвычайно обильной пищи, сегодня стоит почти столько же, сколько неделя в Анталии или Тунисе. Пытаюсь максимально приблизить к читателю недавно ещё элитарную страну, куда и новых русских-то пускали через одного, я расскажу пару историй из собственного опыта: всё это могло иметь место только в Швейцарии и нигде более.

1. Велосипед

Вид швейцарок будил мою прихотливую похоть. Вот уже три дня, как я не знал женщины. Я не изменяю жене, но сам процесс кадрёжки для меня не менее ценен, чем её результат. К тому же я никогда не кадрил швейцарку. Чтобы ликвидировать этот пробел в своём образовании, я склонил музыкального критика Ухова прошвырнуться по берегу Люцернского озера и склеить симпатичную люцерночку хотя бы на предмет поболтать о джазе.

Мы шли по набережной, распаляя друг друга подробностями предстоящего знакомства. Ухов, пять лет назад читавший тут лекции о советском андеграунде, поведал, что, если швейцарка позволила пощекотать пальцем свою ладонь во время рукопожатия, она позволит пощекотать что угодно и чем придётся. Ухов продемонстрировал этот жест, пожимая мне руку, и этим возбудил окончательно.

Внезапно метрах в пяти от набережной, в исключительно прозрачной воде, я увидел вполне целый на вид дамский велосипед – не водный, обычный, красный, с пятью скоростями. В Москве-реке, скорее всего, я не увидел бы его и в трёх метрах от берега. Здесь же он просвечивал со всеми своими бликами.

– Как ты полагаешь, – спросил я Ухова, – откуда здесь мог взяться велосипед?

– Кому-то не достался водный, и он поехал на обычном, – предположил Ухов. – Но велосипед дал течь и утонул.

– Нет, это вряд ли. Скорее всего, этот велосипед послужил орудием убийства.

Некоторое время мы прикидывали, кого и как можно убить дамским велосипедом, но рассудили, что бить им по голове неудобно, а сбить насмерть можно разве что насекомое.

– Скорее всего, его спёрли, но обнаружили неисправность и выкинули, – решил Ухов.

– Спорим, он исправен?

– Спорим. А как ты проверишь?

– А я его сейчас выну.

– Ты что! – принялся урезонивать меня Ухов, человек в высшей степени европейский и законопослушный. – Ты при всех в центре Европы полезешь в воду за велосипедом?

– А что?

– Но, может быть, это наркоман какой-нибудь врезался в воду с передозы! – искал аргументы Ухов. – Может, он весь в СПИДу, этот велосипед.

– СПИД давно смылся, в воде-то.

Я сел на парашют, опустил ноги в воду и мягко сполз. Воды мне было примерно по то самое место, где грудь переходит в брюшко. Ухов некоторое время пометался по берегу, явно пытаюсь примирить в себе русского шестидесятника и европейски известного критика. В конце концов шестидесятник победил. Он лёг на живот и выхватил из воды нас обоих – сперва мой трофей, потом меня.

Машина была в идеальном порядке, с ручным тормозом, переключателем скоростей и даже со звонком – только одна педаль погнулась при падении да приспустило переднее колесо, но это вещь поправимая.

– Нет, он точно не ездит, – грустно сказал Ухов, обнаружив, что машину заклинивает на втором повороте педали. – Его потому и выкинули. Вор украл велосипед, понял, что он на замке, и концы в воду.

– На что спорим, что я сейчас на нём поеду?

– На десять франков, – гордо сказал Ухов.

Мы около получаса колдовали над машиной, привлекая внимание фланировавших по набережной швейцарок, – но это было совсем не то внимание, на которое я рассчитывал. Люцернки косились на нас и нашу мокрую машину со смутным испугом. Наконец мы что-то нажали, тормоз расклинило, я взгромоздился на добычу и, вихляясь, проделал на ней метров двести, после чего вернулся к удивлённому Ухову.

– Ездит! – воскликнул он, словно впервые видя велосипед. – И что ты будешь с ним делать? Я бы на твоём месте заявил в полицию, потому что он зарегистрирован.

– Какая, в жопу, полиция?! – взвился я. – Я спас его, рискуя жизнью! (Единственная жизнь, которой я рисковал, – это некстати проплывавший мимо малёк, да ещё Ухов рисковал намокнуть, вытаскивая меня из озера, но я долго работаю в московской прессе и потому привык к гиперболам.)

– Да вон у него номер на заднем крыле!

– Господи, будь у него даже каждая спица пронумерована! Кто нам что скажет? Он лежал в воде, мы шли и вынули!

Мы с удовольствием купили пива на мои выигранные десять франков и поспешили к гостинице – порадовать нашу группу, вернувшуюся из транспортного музея. Восторгу публики не было предела. На какой-то момент мы стали героями дня. На всякий случай, однако, Ухов подвёл меня к портье и заставил рассказать о находке.

– Лучше сразу отдайте его в полицию, ребята, – дружелюбно сказал портье. – Вам маячит вознаграждение. Если он зарегистрирован, вам точно дадут денег.

– Не в деньгах счастье, – ответил я. – Прекрасная машина. Поезжу и отдам! Где, кстати, полиция?

Ближайший участок оказался на другом берегу озера, и, если туда я ещё доехал бы на велосипеде, возвращаться обратно было так стремно, что я окончательно передумал реституировать трофей. Портье посмотрел на меня неодобрительно, но я его заверил, что когда-нибудь потом обязательно отдам машину. А пока – нет ли у него насоса?

– Велосипедного – нет.

– Но можно приспособить автомобильный...

Этого он не понял, как я ни объяснял. В этой стране неукоснительно следуют инструкциям. Накачивать велосипед автомобильным насосом здесь не стали бы и под дулом пистолета. Мысль о том, что в крайнем случае можно снять со шланга автомобильную насадку и натянуть резиновую кишку на велосипедный ниппель, показалась бы швейцарцу не менее кощунственной, чем зоофилия.

– Ладно, – сказал Ухов, в котором европеец окончательно отступил на второй план. – Поездишь на таком.

Я сделал несколько кругов по автостоянке возле отеля, с гордым видом прокатился по набережной, на глазах одной прелестной швейцарки круто развернулся, причём велосипед чуть не вернулся в родную стихию, – и еле

поспел к ужину. За столом только и было разговору, что о нашем приобретении. Большая часть группы завистливо предрекала нам с велосипедом скорый арест за недонесение и невозвращенчество. Другие, напротив, требовали ни в коем случае не отдавать машину и до возвращения в Москву оставить её в собственности группы, а там посмотрим.

– Классная вещь, – твёрдо сказал Андрей Колесников из «Столицы». – Будет наша.

Велосипед оказался более чем своевременным приобретением, поскольку после второго дня в Швейцарии я почувствовал, что начинаю зажиревать. Здесь надо сделать небольшое лирическое отступление о том, как в Швейцарии кормят. Здесь едят как в последний раз, и это более чем понятно, если учесть страшное окружение этой сугубо нейтральной страны. Поневоле будешь держать в боеготовности всю свою армию и запастись едой. Близ знаменитого Шильонского замка экскурсовод нам даже показал дверь в скале – там, в выдолбленной нише, с тридцатых годов размещаются оружие и консервы. Консервы нас умилили особенно. Мы представили себе, в какой действующий вулкан превратилась бы эта гора, набитая советской тушёнкой тех же времён: сначала бы её пучило, пучило, а потом вырвало мясом. Но факт остаётся фактом: запастись едой и потреблять эти запасы швейцарцы умеют. За деньги, на которые в Москве в среднем ресторане едва попьёшь чаю, в любом швейцарском кафе можно наесться на сутки впрок. Порции чудовищны. В каждое блюдо, мнится, вкладывают не только душу, но и всё, что есть в доме. Больше всего моё воображение потряс крестьянский суп, которым нас кормили близ Фрибура: сыр, ветчина, вермишель, картошка, шпинат – всё это сварено вместе, имеет сливочно-белый цвет, потрясающую жирность и подаётся в большой деревянной миске, которую на Руси называют ендова. Такая ендова одна свободно заменяет обед из трёх блюд. Прибавьте к этому фондю, без которого не садятся за стол (сыр, расплавленный с вином, для окунания кусочков хлеба), раklet (тот же расплавленный сыр, но на картошке) – и рыбу, настоящую, речную, как требует зажавшаяся шлюха в известной рекламе «Трёх пескарей». Устоять, как говорится в другой рекламе, невозможно. На третий день я едва таскал ноги. Велосипед вернул меня к жизни.

На следующее утро мы без особенных сожалений покинули гостеприимный Люцерн, где Лев Толстой когда-то терзался бесплодными моральными борениями. У меня вообще много общего со Львом Толстым. Я тоже немного истерзался мыслями о преступности любой собственности, но тоже бесплодно.

Не мешала же ему его теория кушать спаржу с бешамелем! Я взял свой велосипед, отвёз на вокзал и сдал в багаж. Он поехал вместе с нами во Фрибур.

По Фрибуру нам предстояло передвигаться в основном на микроавтобусе, куда велосипед еле влез. Здесь от него впервые произошёл дискомфорт: группа вынуждена была потесниться и зароптала. Интересный, кстати, феномен: раньше за границу ехали пустыми, а возвращались навьюченными. Теперь навьюченными едут туда, волоча с собой битком набитые сумки со всем гардеробом – в надежде блистать. Наши девушки везли по вечернему платью на каждый день и по летнему костюму на случай жары, плюс несколько килограммов футболок и брюк, а один особенно крутой припёр целую теннисную экипировку. Всё это громоздилось в проходе, и когда сверху впихнули велосипед, публика уже разлюбила его. Правда, я продолжал одалживать его желающим, но во Фрибуре сплошные горы, не раскатаешься. Вдобавок у меня началась мания преследования. Мне рисовался владелец машины, подбирающийся по ночам под мои окна с припевкой: «Скирлы, скирлы, скирлы... На липовой ноге, на берёзовой клюке! Отдай, старуха, мои деньги, ведь я зарезанный купец!» Ухов распался моё воображение, напоминая, что велосипед с люцернским номером непременно заинтересует фрибурскую полицию. Полный эффект был достигнут, когда за утренним шведским столом кто-то мне напомнил, что Михась в Швейцарии уже сидит и послаблений ему не предвидится: русскую мафию тут любят как нигде.

К моменту переезда в Монтрё я уже вздрагивал во сне и избегал кататься на своей машине в светлое время суток. К тому же один мальчик из группы – тот самый крутой – во время обязательного почётногo круга на моем велосипеде как-то так своротил попой седло, что оно встало почти вертикально, являя собою мечту гомосексуалиста, но на меня действуя очень неутешительно. Заново затянуть болты было несложно, но водителю автобуса никто не мог точно перевести слова «разводной ключ».

Я совсем опечалился, когда представитель авиакомпании Swissair сообщил мне, что перевоз самолётом в Москву будет стоить шестьдесят франков, а у меня к тому времени оставалось двадцать – ровно на летний костюм жене и рюмку водки в аэропорту. Группа изъявила готовность в случае чего скинуться, но в голосах товарищей жила нескрываемая надежда, что скидываться не придётся. При всём при том надо же будет как-то тащить велосипед из Шереметьево – не ехать же на нём шестьдесят километров до моей Мосфильмовской, особенно учитывая дамскость машины и эротическое седло!

В Монтрё к группе присоединилась давняя знакомая одного нашего мальчика, менеджера турфирмы: мальчик знал эту швейцарочку ещё по Москве, где она изучала русскую литературу, была со всеми ровна и доброжелательна, но прославилась тем, что за полгода никому так и не дала. За оставшиеся до возвращения два дня мальчик, назовём его Серёжа, задался целью швейцарку уломать. Она опять была мила и доброжелательна, со мной говорила о Тарковском, с Уховым – о Хиндемитте, но сама мысль о соитии с этим прелестным существом выглядела кощунственно. Швейцарки умеют быть красивы, но абсолютно неэротичны – в этом особенность страны в целом, её женщин и её пейзажей. Вся чувственность у них ушла в сыр.

Тем не менее Серёжа не оставлял своих поползновений и в один из вечеров уговорил-таки свою Джоанну не уходить домой: пойдём походим по набережной, джазовый фестиваль, то-сё... Под это дело мы капитально выпили, уселись все вместе в кафе у озера (на этот раз Женевского) и спросили себе макарон с сыром. Завтра предстояло отъезжать, и все заранее ностальгировали.

– Красиво! – вздохнул Колесников.

– Это вы ещё не видели побережье, – сказала швейцарка с милым акцентом. – Я по нему однажды проехала, доехала почти до Франции... Граница проходит через городок во-он там... Но теперь у меня нет вело, он сломался, а купить новый я пока не могу.

Прежде чем я успел что-либо сообразить, Колесников уже сделал самый роскошный из жестов доброй воли, которому я был свидетелем со времён разрядки.

– А мы тебе дарим наш велосипед, – сказал Колесников, мгновенно обобществив мою собственность. В первый момент я опешил, ибо на моих глазах распорядились моей вещью. Но потом понял, что сложная ситуация волшебным образом разрешилась и я, только что противный присвоитель, сделался щедрым дарителем, выручившим швейцарскую студентку.

– О да, конечно! – воскликнул я. – Бери от всей души.

Странно было бы надеяться, что после такого жеста несколько обалдевшая швейцарка пойдёт ночевать ко мне. Но она просияла глазами, и мне вполне

хватило морального удовлетворения от того, что нестабильная Россия умудрилась-таки оказать гуманитарную помощь сытой Швейцарии. Не знаю, что произошло ночью между Серёжей и Джоанной: она заночевала у него, но весь интим, если верить его клятвам, ограничился спаньём во всей одежде на неразобранной кровати с предварительной долгой беседой о Дэвиде Линче. Впрочем, если бы Россия оказала Швейцарии и вторую гуманитарную помощь за ночь, я бы не ревновал. Всякая гуманитарная помощь с русской стороны меня одинаково умиляет.

Наутро мы тепло простились, восхищённая Джоанна уселась на мой эротичный велосипед и с явным удовольствием попилила к дому. Её удаляющаяся фигура зажигательно вихлялась на высоко торчащем сиденье, которое вдруг показалось таким, как надо. На прощание она взяла у меня адрес – видимо, чтобы в случае чего обратиться за письменным подтверждением своей невиновности в краже велосипеда. Подтверждаю это здесь. Я сам его достал. Но, судя по тому, что Джоанна мне не пишет, полиция смотрит на её приобретение сквозь пальцы. Судя по тому, что Джоанна не пишет и Серёже, ей вполне хватает велосипеда.

2. Юбилей

В Швейцарии я отмечал десятую годовщину своего призыва в армию.

Всю жизнь я пытаюсь из будущего послать сигналы себе прошлому, чтобы от каких-то вещей предостеречь, а к каким-то, наоборот, привлечь благожелательное внимание. Нечто вроде разговора на тему «Какими вы будете» или сочинения письма в ХХХ век, только наоборот. Периодически я слышал вопросы от того совершенно зелёного, очень коротко остриженного человека, который сидел на Угрешке в ожидании своей участи. Городской сборный пункт тогда мурыжил призывников по трое-четверо суток, многие ждали команды и вовсе неделями, после чего отпускались домой до следующего призыва и вели своеобразную жизнь после смерти: все их уже проводили и были крайне разочарованы, особенно если студент (которого с чувством вины и, соответственно, неприязнью проводили более удачливые товарищи) возвращался на курс. На него даже преподаватели смотрели как на ущербного. Отсроченная казнь всё равно настигала студента – на этот раз среди зимы. Мне повезло: я промаялся на Угрешке два дня, потом был на сутки отпущен и уж

после этого наконец уехал в учебку, а оттуда в Питер.

И вот, сидя на Угрешке с круглой лысой головой, в трещащих на мне стареньких вещах, которые всё равно потом вернулись домой – их отослали из части, не на что было польститься, – я задавал вопросы себе двадцатидевятилетнему, на десять лет вперёд, и из июля 1997 года пробовал ответить: не помню, доходили ли до меня тогда эти сигналы. Связь выходит чаще всего односторонняя: когда можешь ответить из своего будущего, это никому уже не нужно. Одна радость, о которой писал Набоков, – убогая гордость от сравнения зависимого прошлого с холодным, но благополучным настоящим.

Вот он спрашивает: дождётся ли меня Н.? Дождётся, но окончательно ты женишься на другой, её однофамилице; и у тебя, и у неё это будет второй брак. Закончу ли я факультет? Эка важность; да, конечно. Буду ли работать по специальности? Да, даже слишком много. Как насчёт славы? Двусмысленная, но в метро узнаю?т. Как там будет... ну, там? Терпимо. Как мои всё это перетерпят? Нормально. С трудом, конечно, но перетерпят. Бить-то там – слишком сильно – не будут? Слишком сильно – не будут.

Я вообще всегда стараюсь утешать, если меня спрашивают о чём-то действительно наболевшем.

Итак, один я в июле 1987 года сидел на Угрешке (и в каком-то застывшем вроде янтаря времени всё это безусловно существовало и длилось), а другой я сидел в Швейцарии на кровати в отдельном номере пятизвёздочного отеля и смотрел по отельному телевидению порнуху, чтобы уж свобода так свобода. Если выбирать между этими двумя положениями – я, естественно, предпочёл бы второе, нынешнее, особенно если учесть, что мальчик на Угрешке существовал в тысяча девятьсот восемьдесят лохматом году, впереди у него было полно разочарований, а дома осталась сходящая с ума семья и очень сомнительная девочка, советский вамп, расплеваться с которой навсегда он, однако, сподобился только семь лет спустя. Если же сравнивать самих персонажей, второй мне опять-таки был симпатичнее, зане своя нынешняя рубаха ближе к телу, – хотя и первый всё уже понимал, и с рождения, кажется, а второй только привык и перестал дёргаться.

Планы на этот юбилейный день – прямо как подгадали! – у группы были грандиозные. Первая половина дня – подъём на гору Пилат, что близ Люцерна: канатная дорога, два километра высоты, далее сто метров пешком на вершину,

чтобы было хоть минимальное ощущение собственного участия в подъёме и не стыдно было загадать желание, как это принято на самом верху. Только что бантиков у них не навязывают на шест, обозначающий вершину. Помнится, на Ай-Петри весь мой носовой платок с друзьями изорвали на эти бантики, чтобы вернее сбылось, – и кое-что сбылось, но, как обычно, совсем не так, как думалось. Блаженная пауза между первой и второй половинами дня заполняется обедом на вершине. Вторая половина дня – спуск с горы Пилат, опять же два километра, по канатной дороге, но уже по другой, – в ступенчатом вагончике, медленно скользящем по многозубой стальной гребёнке. После чего традиционно избыточный ужин с отцами города, возлияние с друзьями в баре и проезд по ночному городу на велосипеде (см. выше).

Во всё время этого упоительного подъёма, с зелёным, мятным жевательным мармеладом во рту, в только что купленной тирольской шапочке на голове, я прикидывал по часам, по минутам: вот мой первый наряд – мытье угрешского сортира – за попытку снестись через забор с караулящими рядом своими: пытались все, попался я. Вот мои уехали в надежде, что мне вечером удастся позвонить. Вот случившийся со мной в одном призыве журналист «МК» Костя Тарелин беседует со мною про общих знакомых – я к моменту призыва уже успел перейти в «Собеседник» (скажи мне кто-нибудь, что я буду там и десять лет спустя, – я бы всё-таки удивился своему постоянству). Вот двадцатидвухлетний грузин, до того успешно косивший от армии, угощает меня домашним копчёным мясом, но кусок не идёт мне в горло, и он обижается: «Слушай, мясо ешь!» – и рассказывает мне, как недавно подцепил трипак. У меня к моим тогдашним девятнадцати было всего две женщины, с каждой по серьёзному роману – какой трипак, слушай! Как это можно, чтобы нескольких сразу! Но я его не спрашивал, только кивал со знанием дела. Когда мы въехали на вершину Пилата, я прежний уже пытался уснуть, и было около двух по европейскому – четыре по-нашему.

Проскользив через пару облачков, мы благополучно затормозили на площадке почти у самой вершины – вид распахивался невыразимый, зелёно-серый, и сквозь нежный туман (призванный не замутнить картину, а лишь придать ей романтического флеру) виднелось огромное Люцернское озеро с отважно бороздящим его прогулочным пароходиком величиной со спичку. Хвойные леса, как зелёная шуба, накинутая на очень многочисленные и непарные плечи, закрывали почти все горы вокруг – только на самых дальних голубело то, что в литературе называется вечными льдами. Возмутительно сытые коровы жевали травку на плато в ста метрах внизу. Буйствовала растительность – обычные цветы и травы, разросшиеся и растолстевшие на альпийском воздухе до невероятной величины: то, что на среднерусском лугу выглядит как жёлто-

зелёная метёлочка с медвяным запахом, тут было огромной травинкой ростом с первобытный хвост и соответственно пахло. У обрыва цвёл колокольчик величиной с детскую голову. Поднимаясь к вершине, я нашёл на скале эдельвейс.

В это же самое время, как любил писать тот же самый Толстой, я шёл на построение своей команды в полной уверенности, что меня в неё возьмут. Мне твёрдо обещали. Нам предстояло служить недалеко от Москвы. Двести километров, какой пустяк! Я успел со многими из этой команды познакомиться. Мы все были радостно возбуждены и отгадывали кроссворды – как сейчас помню, это было поразительно легко. Ведь мы были студенческий призыв: названия минералов, зверей и химических соединений подсказывали люди с естественных факультетов, литературу знали филологи, в технике разбирались МИФИсты. Тогдашние кроссворды были трудны, не чета нынешним, составленным в расчёте на жену нового русского, которая их отгадывает между джакузи и массажистом. Но мы их щёлкали за двадцать минут и вскоре отгадали все, какие нашли. Никогда больше я не видел в одном месте столько наголо бритой интеллигенции.

Чего пожелал на вершине, я не скажу. Но к себе десятилетней давности я обратился оттуда со словами наиболее пылкогo увещания, словно с большой высоты и в разреженном воздухе лучше слышно. Я умолял его не беспокоиться. Вот же я, говорил я. В Швейцарии. На горе Пилат. В тирольской шапочке и с эдельвейсом. Не знаю, слышал он или нет. Когда я на городском сборном пункте ненадолго заснул – мне Швейцария не снилась.

...Нас-87 уже строили, а мы-97, тоже строим, спустились в ресторан, где обворожительная собою португалка ожидала наших распоряжений: нам накрыли на веранде, откуда открывался не менее безумный вид, но уже не на озеро, а на горы. Всё вопило о Бранде, о Ледяной Деве, о Пер-Гюнте и фильме «Вертикаль», хотя во всех этих сочинениях имеются в виду разные горы (и только Ледяная Дева имеет отношение к Альпам). В этот момент, уничтожая сочный бифштекс (особенно милый на фоне копченого мяса под беседы о трипаке), я почти понимал альпинистов. Альпинизм мне всегда казался совершенно бессмысленным занятием, но ежели после восхождения (лучше бы по канатной дороге) дают такой бифштекс (лучше бы к нему прилагалась португалка) – восхождение имеет смысл! Всё запивалось ледяной водой из источника: грешно было портить такой вкус вином.

На обратном пути, в фуникулёре, мы разговорились с приятелем-журналистом о бессмертии души. Тема волновала меня всегда и будет, я думаю, волновать, пока я не получу негативного или позитивного ответа на вечный, хотя и самонадеянный вопрос. Как будто здесь можно что-то понять, как будто там будешь понимать себя здешнего! Всё равно что разговаривать с собой десятилетней давности: всё другое, все реакции, словечки, состав крови... но остаётся какая-то неизменная светящаяся точка – может быть, она и там никуда не денется? Я верю в Бога и был бы свободен от всяких сомнений, если бы меня не занимал так часто вопрос о смысле страданий, посылаемых человеку чаще всего ни за что ни про что. Бог не нуждается в оправданиях, но вопросы, заданные Иовом, в некотором смысле до сих пор безотчётны. Честертон говорил, что на вопросительный знак Иова Господь ответил восклицательным. Иов спрашивает: за что мою жену и деток? Господь отвечает: зато какие у меня горы! какие моря! какие звёзды! можешь ли впрячь единорога, чтобы пахал тебе? Не ищи воле Господа рациональных обоснований! Гляди, сколько у меня всякого всего! С безусловной поправкой на масштаб – и личности, и её несчастий – Господь проделывал со мною нечто подобное, восклицательное: зато какие у меня Альпы!

Господи, думал я, зачем, чего ради, я изнывал два года в ожидании повестки и столько же – в ожидании дембеля; и ломал себя, и сомневался в своём праве на существование – только потому, что я интеллигенция, а не народ, и не умею как следует вымыть пола? Зачем, Господи, я научился мыть пол, и не было ли это началом того отказа от себя, который сегодня зашёл уже слишком далеко, так что я и сам хорошенько не знаю, кого зовут моим именем? Чего ради, Господи, не спала ночей вся моя семья – два старика и несчастная мать, у которой всей радости только и было в эти два года, что возможность свидеться со мной да грамоты, которые я получал – чаще всего за трудовой энтузиазм и участие в художественной самодеятельности, потому что ходить строевым шагом, слава Тебе, Господи, я так и не научился. И ведь это, Господи, был лучший вариант, ты спас меня, Господи, поместив в лучшее место, не оставляя, ведя, – а один мой приятель служил на границе и там повесился, потеряв секретные документы, которые потом нашлись за шкафом и, главное, никому не были нужны! Он тоже был единственным сыном матери-одиночки. И, как писал в ответах на мои вопросы наш семейный кумир Стивен Книг, слишком велик соблазн увериться в бесконечном милосердии Божиим, исходя из личного благополучия...

Господи, что мы будем делать с двадцатым веком во всей его красе? Что мы будем делать с человеком, Господи?

Примерно в это время, в шесть часов нашего, я уже построился вместе со всеми, но меня в последний момент вычеркнули из списков той команды. Я им не подошёл по здоровью и остался ночевать на Угрешке. Мне немедленно надо было сообщить об этом матери, которая дома мучилась неопределённостью, – было чем мучиться, усмехнётся какой-нибудь мудака, и я объясню ему, что было, было! ибо у нас в семье вообще очень крепкие связи между всеми, все вечно друг за друга с ума сходят, я сам понимаю, как всё это смешно и уязвимо, но что ты будешь делать! сам издеваюсь над этими интеллигентскими семьями, в которых все друг на друга орут, скандалят, рыдают из-за позднего возвращения любимого чада, которое и рвётся из-под этой опеки, и не мыслит себя вне этого купола над собой, – короче, я-97 в отличие от меня-87 никогда и ничего не берусь объяснять мудакам. Мне надо было позвонить, не злите меня. И я умолил какого-то офицера пустить меня в канцелярию Уг-решки – только на два слова, сказать, что всё нормально, но из команды меня вычеркнули и я ещё не уехал.

Мне пришлось соврать, что дома все больны, и меня царственным жестом допустили к ярко-красному телефону. Я успел только сказать, что меня не взяли в команду, – на другом конце провода мать, кажется, только и поняла, что сам я страшно напуган, и повторяла со слезами: «Димочка! Димочка! Маленький!» – заметьте, маленькому девятнадцать лет, он уже бабу один раз обрюхатил, – но сейчас я был действительно маленький, руки у меня тряслись, а у матери был голос раненой птицы. За что ей, Господи?

Я собирался ещё что-то говорить, повторял – мама, всё нормально, мама, всё нормально, – когда истекло моё время и офицер стал хватать меня за трубку. Я машинально отвёл его лапу, и это его взорвало.

– За руки хватать! боевого офицера! – кричал он, всё более распаляясь, и рядом с ним распалялся красный телефон, на рычаги которого он с силой шмякнул трубку. – Блядь! Я Афганистан прошёл! – и кричал он об этом так, что было совершенно ясно – никакого Афганистана он не прошёл, так и торчал всю жизнь на административных должностях в местах вроде канцелярии на Угрешке, а боевые действия его ограничивались тем, что он отбивался от комиссий на каком-нибудь продскладе, – но ему надо было себя завести. Он за шкуру вышвырнул меня из канцелярии, как щенка, и наказал проходившему мимо сержанту не разрешать мне спать до тех пор, пока я не вымою пол в одном из спальных помещений на втором этаже.

В этот момент я уже окончательно уверился, что всё происходит не со мной, сработал спасительный наркоз, и я был совершенно убеждён, что теперь всё будет прекрасно. Раз так хреново начинается, дальше обязано быть прекрасно. В некотором смысле так оно и оказалось, тем более что в этот момент, возя по жёлтому от пыли полу мокрую красноватую рогожу, я в очередной раз умер, как умер однажды в детстве в первом классе, а потом ещё один раз в десятом, а потом один раз на втором курсе, когда узнал, что есть другой, – в общем, матрёшка пополнялась всё новыми и новыми оболочками, но какая-то одна, самая маленькая, всё ещё трепыхнётся до сих пор: она, вероятно, и есть моя бессмертная душа.

Но теперь я уже пил с отцами города, и по случаю их прибытия внесли крепкое: обычно группе подавали вино, но тут, в виде особой милости, был внесён раггоч, как в этой части Швейцарии называется очень крепкая, градусов сорок пять, сливовая или яблочная водка. По чистоте и ароматности она превосходит всё, что я пил до сих пор. Пусть это непатриотично, но я предпочитаю раггоч всему, что производится в России, кроме разве самогона из сахарной свёклы, какой я пил у великого питерского поэта Нонны Слепаковой по случаю своего дембеля. Отвяжись, я тебя умоляю, сказал я вслед за другим великим швейцарцем и погрузился в ароматные волны раггоч'а – старика Парыча, как мы называли его впоследствии. На пятой рюмке я понял, что всё в моей судьбе было на редкость гармонично и целесообразно.

Люцернское озеро, на берегу которого мы сидели, блестело нефтяным блеском. Близ берега высилась деревянная крепость – точная копия древней. Далёкие огни того берега дробились в воде и потому шли двойным рядом – сверху чётким, снизу размытым и как бы зыблущимся. Липы вдоль набережной всё ещё слабо пахли. Также слабо, но от того не менее отчётливо проступали над фонарями звёзды, складываясь в несколько смещённый, но в целом привычный рисунок северного неба. Мир держался в дивном равновесии, дышал божественной гармонией и справедливо воздавал мне за позор и страх десятилетней давности – воздавал многократной сторицей, ибо что значит какая-то Угрешка в сравнении с Альпами!

Но моя армия – но Люцернское озеро! – но моя мать, кричащая голосом раненой чтицы – но Альпы! – но офицер на красном телефоне – но гора Пилат! – но Пилат – но Христос! И последнее слово в этом диалоге было всё-таки «да».

Да, да, да, всё правильно.

Ночью, вернувшись в номер, я сонно включил телевизор и узнал, что баскские террористы, в серьёзность намерений которых никто не верил, всё-таки убили ни за что ни про что испанского мальчика, захваченного за пять дней до того близ банка, где он работал. По всем каналам европейского телевидения рыдали его жена и мать. На всех площадях европейских столиц шли скорбные митинги, и пассионарные люди в Мадриде клялись отомстить или пасть, как он.

3. ix.1997

іностранец

Уходящая натура

На Кубу надо ехать скорей. В мире осталось не так много магических мест, где можно почувствовать себя вне времени и в насквозь условном пространстве.

Есть государства, в которых ни одна революция не меняет ситуацию – только упрощает, опошляет её. В России, например, после семнадцатого года получилась та же империя, только для идиотов, после восемьдесят шестого – опять-таки империя, но для бандитов. Куба всегда была и при Фиделе осталась государством для пофигистов. Достаточно посмотреть, как работают кубинцы. По сравнению с ними работяги, которые забивали козла на одной из строек загнивавшего социализма, показались бы стахановцами. Удар ломом по асфальту производится примерно раз в час. Кубинская промышленность без советской поддержки совершенно зачахла, в местных магазинах решительно ничего нет. Население живёт не только за чертой бедности, но и за чертой убожества, однако ошибкой было бы думать, что его это не устраивает.

Не гони, товарищ

Сегодняшняя Куба, застывшая, как муха в меду, в своём сладком, текучем латиноамериканском времени, представляет собой умиленное зрелище убожества, к которому притерпелись. Гавана – город выдающейся архитектурной эклектики: на глазах ветшающие здания времён советской помощи соседствуют с окончательно уже обветшавшими зданиями дореволюционных времён. Подавляющее большинство машин на улицах – либо древние «Жигули» (в Москве нет столько «Жигулей»), либо ещё более древние американские машины, едущие каким-то чудом.

Но надо вовсе не знать Кубы, чтобы заподозрить её население в склонности к депрессии. Идёте вы, допустим, к океану. Набережная в Гаване не ахти какая красивая, фонари на ней стоят редкие, бетонный парапет без архитектурных излишеств, вид самый промышленный, и пахнет, разумеется, морской гнилью. Вдалеке мигают огоньками маленькие плоские кораблики, над широкоэкранным океаном гаснет чрезвычайно красный, винно-густой закат, а по набережной прогуливаются – лениво, как бы фланируя, – местные жители, живущие в замедленном тропическом темпе. Они знают, что завтра будет другой день, похожий на предыдущий. В подъездах хрущоб (совершенно неотличимых от наших) сидят смуглые женщины (совершенно неотличимые от героинь мексиканских теленовелл). Иногда крупная смуглая матрона выплёскивает из окна грязно-пенную воду или прокисший суп. Мужчины покуривают в скверах или собираются в кафе, в которых даже меню не дают, поскольку в ассортименте наличествуют два блюда: свинина с бобами и свинина без бобов. Ну и ром, естественно.

Ром, бабы

Это я собственно о Кубе, а не о её туристском имидже. Для иностранцев существуют рыбные рестораны (где подаётся разнообразный sea food по довольно-таки бешеным ценам) и дискотеки, служащие в основном для сведения знакомства с женским населением. Но слухи о привлекательности кубинок значительно преувеличены – это скромный островной пиар. Кубинская любовь предназначена для моряков, авантюристов и прочих международных скитальцев, которым, чтобы возбудиться, совершенно необязательно влюбляться или даже чувствовать интерес к партнёру. Им хочется разрядки, ничего более – и чем меньше церемоний, тем лучше обеим сторонам. Дискотеки на Кубе многочисленны, громки, убоги в смысле музыкальном и необычайно

дороги в смысле выпивательном, так что не давайте конsumировать себя и сразу спрашивайте, где койка.

Разумеется, на Кубе существует не только продажная любовь. Любовь здесь, насколько я успел понять, второй по значению национальный спорт после переворотов, но значительно более простой и доступный. Обнимающиеся пары (обнимающиеся, впрочем, лениво и, скорее, машинально) вы можете увидеть везде: на школьном дворе во время перемены, на улице, на той же набережной или в упомянутом кафе с ромом, свининой и бобами. В старой французской комедии Бельмондо в целях маскировки изображал дауна, обременённого детьми. «Это его единственное развлечение», – поясняла жена. Видимо, здесь это тоже единственное развлечение, поскольку денег ни у кого нет, а этим иногда можно заняться бесплатно.

Рынок и социализм

Не следует упускать из виду такие важные статьи туристического бизнеса, как великое прошлое и пейзажи. Из великого прошлого на Кубе наличествует Хемингуэй и всё с ним связанное. Думаю, он любил этот остров по той же причине, что и Гарсиа Маркес: за то, что остров выпал из остального мира, только тут и можно было придумать вневременную, почти библейскую притчу «Старик и море». Есть музей Хемингуэя и бар его имени, где любой турист, поверхностно знакомый с творчеством главного героя шестидесятнического мифа, может заказать себе дайкири. Ничего особенного, довольно крепко.

Что касается пейзажей, то на пейзажи (как и на культуру, и на лица) при социализме всегда ложится какой-то серый флёр. Идёте вы, допустим, на гаванский рынок в надежде увидеть что-то невыносимо экзотическое – буйство тропической природы, цветов, фруктов и всякой рыбы, пахнущей гнилью и свежестью; и представляются вам всяческие обитатели коралловых рифов, осьминоги, там, или сияющие рыбы-ангелы. И приходите вы на рынок, и видите какие-то коричневые и серые клубни непонятного назначения, пучки пыльной зелени, гниловатые на вид ананасы (оно понятно, белый ест ананас спелый, чёрный – гнилью мочённый). Никаких тропических фруктов поначалу не замечаешь. Потом присматриваешься – есть маленькие зелёные бананы по два доллара мешочек. В мешочке килограммов шесть. Можно купить и всё время

есть маленькие зелёные бананы. Нет, лучше два доллара потратить на поход в букинистический магазин. Там можно купить старый американский патефон с пластинками и хорошие книжки, ещё в твёрдых переплётках. В тех же букинистических лавочках в изобилии продаётся советская литература; хочется выкупить её из этого заокеанского плена и вернуть на родину, где время всё-таки движется. Несколько книжек я выкупил и вернул.

Есть выдающийся аквариум – своего рода морской музей, устроенный на берегу океана, где можно наблюдать акул и пресловутых рыб-ангелов. Но акулы социализма плавают в такой мутной воде, а рыбы-ангелы проплывают перед тобой за таким волнистым и тоже мутным стеклом, что праздничного ощущения нет и тут. Разумеется, построено всё с размахом – но многие аквариумы постоянно пустуют (идёт какая-то бесконечная реконструкция), а в других так же трудно разглядеть экзотических обитателей, как в Московском зоопарке – павлина. Ну, ходит что-то такое по пыльному вольеру, волоча хвост и сливаясь с искусственным деревом... Правда, в одном аквариуме я видел совершенно выдающуюся медузу, застывшую в царственной неподвижности. Вероятно, она была опасна и стрекательна, но ничего угрожающего в её внешности уже не было. Лень заразительна.

Дело – табак

Да, сигары – как я мог забыть о сигарах?! Некоторых возят на экскурсии на фабрику, где несколько девушек покажут вам, как сворачивать сигары на бёдрах; массовое производство «сигар на бёдрах» давно свёрнуто: ручная (тут, скорее, «ножная») работа ценится исключительно дорого. Кубинские сигары и особенно сигареты в самом деле хороши. Хорош и ром, особенно выдержанный (стоит он тут дороже, чем в Москве). Что до моих любимых сигарет «Монтекристо» и «Партагас» (они же «Смерть под парусом»), по которым я скучаю с самой перестройки, когда мы отвернулись от Кубы и перестали покупать эту прелесть, – я их тоже почему-то не видел. В городе продаётся ужасная дрянь, а в отелях – дорогущие сигариллы. Лишь в одной отельной лавчонке нашёл я родные бесфильтровые «Монтекристо» по доллару пачка и тут же всё это выкурил в припадке ностальгии.

«А Варадеро?» – спросите вы. Ну как же без Варадеро! Это курорт в 135 километрах от Гаваны. Песчаные пляжи, ослепительное небо, вполне европейский сервис, разноцветные коктейли. И океан, который никаким социализмом не испортишь. Так ведь это есть везде, где есть океан, песок и пальмы...

Почему же мне понравилась Куба? Мне нравятся сумерки империй, время перехода, момент восхитительной безответственности, когда почти всё уже можно. На Кубе сейчас как раз такое время. И когда я стоял на набережной среди лениво фланирующих пар, переговаривающихся сорокалетних обитательниц хрущоб и немногословных испитых мужчин, когда мимо меня на мотоциклетах (местное такси) прокатывали неторопливые водители, а над всеми нами горел большой закат и пахло морской гнилью, я чувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Пассионарии пусть любят пассионарное, а мы будем любить упадок. Время, когда колонизаторы уже ушли и джунгли медленно заплетают их оставленные дворцы.

26. х.2002

«Парадокс»

На Енисее

Я бывал четырежды: три раза в Сибири и один раз на Кубе. В Сибири лучше.

Всякому человеку, вернувшемуся с Кубы, задают два вопроса: видел ли он Фиделя Кастро и испытал ли на себе прелести местной проституции. Сейчас, правда, прибавился третий: ты что, с Путиным там был? Путин, вслед за Кастро и проституцией, в декабре стал главной достопримечательностью Острова свободы. Отвечаю: летал не с Путиным, Кастро видел по телевизору. Самые большие трудности вызывает у меня вопрос с проституцией: на него, как вы сейчас увидите, мне трудно ответить однозначно.

Естественно, о кубинской сексуальной свободе я был наслышан достаточно. «Как выйдешь на Маликон, они сами тебя за всё схватят», – предупреждали

знающие люди. Что такое Маликон, я понятия не имел – решил обнаружить опытным путём, гуляя по Гаване и ожидая, пока схватят. Правда, из разговоров в самолёте выяснилось, что Кастро взялся за проститутку всерьёз – не подумайте плохого, стал преследовать, – и оттого по Маликону стало можно ходить спокойно, зато все окраинные перекрёстки прямо-таки запружены смуглым женским телом, причём полудетским, самого возбуждательного и дешёвого свойства. «Пять баксов – и твоя», – предупреждали одни. «Кусок мыла», – попросту говорили другие. Ближе к приземлению я уже не сомневался, что они там сами приплачивают.

Поймите меня правильно: я счастлив в браке и вовсе не планировал изменять жене. Более того, я отнюдь не уверен в своей способности захотеть профессионалку. Я так устроен, что партнёршу мне надо хоть немножко любить или уж она должна быть очень хороша собой, но бесплатность, то есть непосредственность чувства, является для меня серьёзным требованием. В силу этой же причины я никогда ничего не написал за сверхгонорарные деньги, по политическому заказу или просьбе властей. Что поделать, он (талант) у меня капризный и действует только любовно.

Но в стране, где из всех достопримечательностей наиболее знамениты домик Хемингуэя, Кастро, Путин и вот это самое, после осмотра Путина, Кастро и домика Хемингуэя хочется посмотреть на то, о чём столько говорят. В первые два дня мне везло: я ходил себе по Маликону и вокруг, глазел по сторонам, покупал фрукты, заходил в пустые магазины, и никто меня ни за что не хватал. Вечером третьего дня, воротясь в гостиницу, я обнаружил в холле её двух крепких хозяйственников из нашей группы – они прилетели на Кубу по каким-то крепким хозяйственным делам и явно находились в затруднении. Одному было чуть за сорок, другому – явно за шестьдесят, но именно он больше всего рассказывал о своём местном опыте: опыт был удачный, местные красавицы к старику так и липли. Я сам люблю таких весёлых стариков, опять же не подумайте плохого: мне нравится их советская деловитость, умение везде найти выпить и закусить, их неувыдаемая бодрость и непотопляемость, благодаря которой они при любых формациях чувствуют себя прекрасно.

– Э, э! – позвали они меня к себе. – Бабу надо?

– А вы что, партию закупили?

– Да понимаешь, она на нас бросилась... ну, в магазине тут... но в номера идти не хочет категорически! Может, у неё подруги есть? Ты спроси, она по-английски ничего болтает.

Поодаль ждала их вердикта довольно симпатичная, но явно не нимфетского возраста кубинка, смуглая, но не мулатка, худощавая, но задастая (отличительная черта местной красоты вообще, здесь как-то специально отращивают большую попу, считающуюся признаком духовного аристократизма). На меня она смотрела со смутной надеждой.

– Ты понимаешь, я на ночь глядя абы куда не поеду, – робко сказал сорокалетний.

– Да у них тут преступности нет, ты не бойся, – уговаривал старик почему-то именно меня. – Но, ты понимаешь, устали мы... Если бы в номер, вопросов нет, – и он похлопал кубинку по её национальной гордости, а заодно щипнул за грудь. Гордость ему понравилась больше.

Видя на лице кубинки простоту и дружелюбие, я особенно стесняться не стал и перевёл насчёт подруг. На бойком, даже слишком бойком английском, в котором клекотал испанский темперамент, она сообщила, что подруги есть, но искать их надо в диско, куда теперь переместился центр сладкого кубинского бизнеса. За промысел на улицах и тем более за появление в отелях среди ночи могут запомнить, оштрафовать, донести по месту работы, а нафиг ей это надо.

Услышав про диско, хозяйственники заметно оживились:

– Тут рядом музыку по ночам слышать...

– Ты сходи, сходи. Тебе надо. Ты журналист, впечатлений подкопишь...

– Товарищи, я и в юности туда не ходил!

– Ничего, ничего...

Уговаривали они меня, как пугачёвцы Гринёва, которого собираются вешать. Собирались всего-навсего кинуть, но это я понял не сразу.

– Только для диско вы должны переодеться, – вступила кубинка на своём бойком школьном английском. – Туда нельзя в коротких штанах.

– Ну, побежали переодеваться! – воскликнули хозяйственники. – Через десять минут здесь!

– Товарищи, я почитал бы лучше...

– Да ладно тебе! Хоть диско ихнее посмотришь, окупёшься в восьмидесятый год!

С отвращением надев длинные штаны (ночами в декабре на Кубе запросто может быть двадцать семь градусов тепла), я спустился вниз и обнаружил кубинку во внутреннем дворике отеля.

– Внутрь не зайду, – сказала она, глядя на меня в упор огромными чёрными глазами. – Отельная обслуга меня вычислила уже. Ещё раз зайду – и спросят документы. Ты не знаешь, что у нас тут делается.

– Да ладно, они нас не найдут... друзья-то мои...

– Захотят – найдут. Подождём.

Мы подождали минут пятнадцать, которых хватило бы для надевания штанов и самому крепкому хозяйственнику в состоянии самого бурного радикулита.

– Твои друзья не придут, – сказала она решительно. – Они испугались. Пойдём в диско.

Идти туда без компании мне совершенно не улыбалось – это означало уже принять на себя какие-то обязательства.

– Тебе же, по-моему, старик нравился?

– Мне совершенно всё равно, – сказала она без малейшего энтузиазма.

Я несколько оскорбился.

– Мне надо денег с собой взять, – использовал я последнюю уловку, но она уже вцепилась в мою руку:

– Не ври, кошелёк у тебя с собой. Поехали.

– Как тебя зовут хоть? – спросил я уже в такси. Ехали мы не в ближайшую, а в какую-то дальнюю и явно более крутую дискотеку.

– Обычно я называю себя Дженни, – сказала она мрачно. – Но родители называли меня Енисей. С этого имени пошли все мои неприятности.

– За что ж они тебя так называли-то?

– Они думали, что если Лена – имя, значит, Енисей тоже имя. Я уж не знаю, как мне избавиться от этого проклятия. Была, ты понимаешь, мода на всё русское, мальчики – сплошные Ленины. Ну а потом русские нас кинули в девяностом году, это позор... – про позор она рассказывала уже у дверей дискотеки. Я прикидывал расходы: пять баксов на такси (на Кубе бакс ходит наравне с основной валютой), по пять за вход, понадобится угощение... Да потом – сколько она запросит? Останется ли у меня расплачиваться за гостиницу? Она заметила перепад в настроении клиента и потянула меня за руку:

– Пошли, пошли. Э, да тут у нас обручальное кольцо! Ты женат?

– Женат.

– А я была замужем, и мне не понравилось. Выскочила, как дура, в семнадцать с половиной лет. А сейчас мне двадцать четыре, и мне не нужен никакой бойфренд.

В дискотеке по причине относительно раннего времени – всего-то полночь – было пустовато, но уже стекался народ. Не танцевал никто – большая часть гостей сидела по углам и о чём-то спорила.

– Знаешь, – сказала Енисей, – я бы выпила «Бейлиса», пожалуй...

Дело Бейлиса, подумал я. Шестнадцать баксов порция. Видит бог, не собирался ничего с тобой делать, девочка, но, учитывая твои аппетиты, поимею по полной программе, пропадай моя телега. Себе я взял рому. Под «Бейлис» (бармен поглядел на меня сочувственно – влип ты, малый) она рассказала мне всю свою жизнь и даже показала идентификационную карточку.

– У меня всё чисто, видишь? Я не то что эти с Маликона! (Да что ж такое этот Маликон, подумал я, что за волшебный край!) На Маликоне ты можешь поймать и СПИД, и герпес – у нас везде герпес, – и всё что хочешь. Я учительница начальных классов. То, что нам платят, – это ничего, совсем ничего. Пятнадцать долларов моя зарплата, а цены у нас знаешь какие?

Цены я знал, знал и то, что в местной валюте всё значительно дешевле, только обменивать её надо на «чёрном рынке», а это большая головная боль. В конце концов на доллар можно купить мешок маленьких зелёных бананов. Купила бы себе мешок маленьких зелёных бананов и ела по килограмму в день...

– Мне тут недавно один мексиканец, – сказала она хрипло и доверительно, – подарил шестьсот долларов. Знаешь за что? Всего-то я с ним тут потанцевала. Ты представляешь?

Это была то ли рекламная пауза, то ли – что несколько вероятнее – прямой призыв не жидиться.

– Сколько вы платите русским девушкам? – в упор спросила она.

– Баксов сто за ночь, – назвал я такую цифру, чтобы не слишком посрамить своих.

– Значит, и мне ты заплатишь сотню, – заявила она безапелляционно.

– Нет уж, Дженни, – обрадовался я предложению прикрыть всю эту лавочку ещё в зародыше. – Мы сейчас выпьем, потанцуем, и я пойду себе в гостиницу. Серьёзно.

– Но чем я хуже русских девушек? У тебя была когда-нибудь иностранка?

- Были, - сказал я. - Бывали дни весёлые.

- А кто конкретно?

- Ну, всё тебе расскажи... Немка была. Китайка. Американка.

- Чёрная?

- Нет. А ты что, можешь организовать чёрную?

- Нет, что ты. Я не люблю чёрных. То есть не подумай, что я расистка (она прочла мне небольшую лекцию о том, что на Кубе расистов нет, тут интернационализм), но всё-таки чёрный - это чёрный. На Маликоне много чёрных. (На Маликон, на Маликон!) У меня тоже никогда не было русских, ты первый. У тебя ведь не было кубинки, ты ещё не знаешь, что наши девушки - лучшие в мире!

- Да я тебе верю, но сто баксов - это не разговор.

- Но в России ты платишь столько!

- В России, Дженни, меня любят бесплатно. Пей давай.

- Хорошо, - она смягчилась. - Слушай, кто ты по профессии?

- Журналист.

- Ты приехал сюда делать бизнес? Или с вашим президентом?

- Я сюда приехал по своим делам.

- Если ты приехал с президентом, у тебя должно быть много баксов! Я читала, что в президентском окружении у русских все воруют, у всех куча денег!

Это карма, подумал я. Приехать на Кубу и попасть в лапы такой политически подкованной девушке. Выучить такую по-русски - и можно запускать в «МК».

Чёрт меня дёрнул написать когда-то статью «Коллеги»!

Её весёлый и напористый селф-промоушен (во время которого она не забывала разнообразно тискать мою руку) заставлял меня испытывать что-то вроде профессиональной солидарности.

– Ну так сколько ты дашь? – не отставала она. – Смотри: комната на ночь у нас стоит тридцать долларов.

– Че-го? Она у нас-то столько не стоит! – Я вошёл во вкус, торговаться мне понравилось, я и в Эмиратах на базаре так не торговался.

– Слушай! – после каждого «лисн, лисн» её бархатные решительные глаза приобретали всё более трагический вид, отвернёшься – пырнёт. – Слушай, ты не знаешь жизнь на Кубе. Жизнь туриста тут очень сильно отличается от прозябания местного народа...

– Уверю тебя, друг мой, у нас до всех дел было ровно так же.

– Ты не знаешь, как мы живём. Заработать нечем, и все за всеми шпионят. Единственный способ для девушки выжить – это дружить с иностранцами. Видишь всех этих девушек?

Я огляделся. Девушек было навалом, куда более приличного качества, чем моя.

– Ты думаешь, они пришли сюда танцевать? Нет. Ты видишь, почти никто не танцует. Они договариваются.

– Что, все?

Она кивнула.

– И ни одной... это... просто так?

– С какой стати им после работы торчать тут ночью! – взорвалась она. Я, правда, не поверил, что они тут на Кубе очень устают. Увидеть работающего кубинца – вообще большая удача. Но, может, девушки и днём работают? Тогда, конечно,

ноги не будут держать...

– Ладно, – сказал я. – За комнату плачу двадцать, тебе тоже двадцать, и уговорились.

– Ты не знаешь кубинских девушек! – взвизгнула она и пошла на второй круг, но тут уж я перехватил инициативу. Я в деталях рассказал ей, как мы у себя свергли советскую власть, и как много появилось у нас возможностей легально заработать, и каким отсталым, каким убогим выглядит сегодня их общество на наш взгляд, и как обязательно надо сместить коммунистов...

– Слушай! – воскликнула Енисей и окончательно оскалила глаза, сжимая мою руку. – Если ты так хорошо понимаешь всю нашу ситуацию... почему ты не дашь мне тридцать долларов?!

Я вспомнил, как сходными приёмами, чередуя шантаж и жалобы, добивался многих интервью, ощутил ещё один приступ профессиональной солидарности, расхохотался и согласился.

– Что ты смеёшься? – обиделась она. – Чему ты вообще всё время смеёшься, что тут смешного, я не понимаю?!

– Ещё немного, Дженни, – сказал я, – и я тебя полюблю.

Она спросила ещё «Бейлиса», потом мы вышли курить во внутренний дворик, я оглядел бетонный парапет набережной (под ним во множестве гнездятся морские ежи) и поинтересовался, действительно ли эти ежи так вкусны, как описано у Евтушенко.

– Да ты что! – расхохоталась она. – Кто же их ест! У нас их используют только как наживку!

Так флёр романтики спадал постепенно со всего – с братской Кубы, продажной любви и даже морских ежей.

– Тут гнилью пахнет, – сказала она. – Поехали, наверное? Я уж вижу, тебе не терпится. Но ничего. Это близко.

До нашего скромного гнёздышка оказалось ещё баксов семь на такси – другой конец Гаваны, как я смекнул. Шёл третий час ночи, но из некоторых окон лилась музыка. Видимо, за день эти несчастные устали до того, что теперь не могли уснуть.

Мы вошли в какой-то домик, я как раз в таком останавливался однажды в Геленджике – те же занавесочки, этажерочки, что-то вьющееся оплетает веранду... Хозяйка обрадовалась Енисею и ничуть не удивилась мне. Моя девушка что-то быстро произнесла по-испански, показывая на меня. После рома я был весел и беззаботен, так что уловил только неоднократное «руссо». Путин не упоминался. Потом она обратилась ко мне, как Троцкий к Ленину:

– Это очень надёжная квартира.

– Да мне-то чего бояться...

– Тут есть кондиционер, – сказала она веско. – В других квартирах нет кондиционера. И тут есть душ.

Дженни потянула меня в заднюю комнату размером примерно с хрущобную кухню. Во всю стену был написан портрет красотки в одних трусах. По кубинским меркам это был предел сексуальной раскрепощённости. За картонной стеной слышался громкий неразборчивый разговор – мужчина бранил женщину.

– Это проснулся друг хозяйки, – шепнула Дженни.

Я окончательно уверился, что нахожусь в Геленджике.

– Сейчас я пойду в ванну, – сказала она. – Но лисн! лисн! Хозяйка сказала мне важную вещь. Во-первых, деньги за комнату вперёд.

Я вынул двадцать баксов – отступить было некуда. Енисей выбежала в соседнюю комнату и сунула хозяйке. Мужчина за стеной тут же заткнулся. По-видимому, подействовало.

– Во-вторых, сейчас на Кубе очень большой наплыв туристов, – продолжала Дженни голосом экскурсовода. – Просто не продохнуть. Поэтому через три часа сюда может прийти другая девушка с другим другом. И тогда нам придётся уйти. Но уверяю тебя, мы всё успеем.

– Не сомневаюсь, – сказал я. – Но мы договаривались на всю ночь.

– Лисн, лисн! Ты сможешь в эти три часа делать со мной всё, что захочешь...

– Не знаю, чего я тут захочу, – сказал я, кивнув на хозяйскую комнату, где продолжалась ночная брань. – Но я заплатил двадцать долларов за ночь. Отдай, старуха, мои деньги, ведь я зарезанный купец, – последнее я спел по-русски и этим напугал её окончательно. В комнате горел яркий свет – поярче, чем в нашем баре и в ихней дискотеке, – и при нём я различил, что ей действительно двадцать четыре года, а то и побольше, и жизнь её была нелёгкая, действительно нелёгкая социалистическая жизнь, год за полтора. И мне не хотелось её, этой нелёгкой жизни. Мне надоело, что чуждая логика ведёт меня каким-то странным путём, и я встал с жёсткого дивана, намереваясь скандалить.

– Лисн! – заорала она, сверкая глазами. – Всё, я беру у неё твои двадцать долларов, и мы едем ко мне! Но помни, ты сам этого хотел.

Видимо, для неё это была серьёзная жертва. «Что ж у неё там такое?» – подумал я. Мы вернулись в хозяйскую комнатёнку, где стоял телефон, и хозяйка, с ненавистью вернув двадцать долларов, вызвала такси. Потом она разразилась громкой тирадой в мой адрес.

– Что она говорит?

– Она говорит, – перевела Енисей, – что у нас очень трудная жизнь, что честной женщине на Кубе совершенно не выжить, а некоторые не хотят этого понимать!

В голосе её звучали родные коммунальные интонации. Как сказал другой хороший поэт, я стремился на семь тысяч вёрст вперёд, а приехал на семь лет назад. Это тоже карма, думал я. Всю жизнь в России мне было негде, всю жизнь друзья уступали мне комнату. Теперь, когда я решил свой квартирный вопрос в России, он догнал меня на Кубе. От судьбы не уйдёшь, господа.

Подошло такси, мы опять поехали на другой конец города и наконец затормозили в каком-то древнем, очень католического вида квартале. Здания, как и почти во всей старой Гаване, были приземисты и полуразрушены. Осыпалась роскошь времён диктатора Батисты. Она долго возилась с замком и наконец отперла облупленную дверь. За ней было тёмное, кисло пахнущее помещение.

– Я здесь живу с тёткой, – сказала она. – Мать на окраине Гаваны, а я у тётки.

Я представил место, в котором должна жить мать. Передо мною нарисовался беженский лагерь. Надо было бежать, но во мне уже включился профессиональный интерес – чем всё это кончится. Одновременно с интересом включилась безабажурная лампочка под потолком (абажур-то она могла бы купить с шестисот баксов своего мексиканца, которого никогда не существовало в природе) – и из кислой темноты навстречу нам выступила с заискивающей улыбкой классическая героиня латиноамериканского сериала, потрепанная жизнью женщина после сорока, в ночной рубашке. Она сказала на нормальном сериальном языке и даже с теми же интонациями длинную фразу, которую с равным успехом можно было перевести и как: «Мой дом – твой дом, Луис Альберто», и «Какая ты добрая, Мария!», и даже «Синьор Хуан все ещё не вышел из комы».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

Примерно 2\$ по курсу 1996 года. – Примеч. ред.

Купитъ: https://telnovel.me/bykov_dmitriy/palolo-ili-kak-ya-puteshestvoval

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)